

ЭЛЛЕН ФЕЛДМАН

Париж никогда тебя не оставит

роман



Поклонники «Соловья» Кристин Ханн
будут в восторге от этого романа.

Booklist

18+

Эллен Фелдман

Париж никогда тебя не оставит

«Фантом Пресс»

2020

УДК 821.111
ББК 84(7Сое)

Фелдман Э.

Париж никогда тебя не оставит / Э. Фелдман — «Фантом Пресс»,
2020

ISBN 978-5-86471-891-9

1954-й, Шарлотт живет в Нью-Йорке с дочерью-подростком. Она по-своему счастлива – тихая размеренная жизнь, работа в издательстве. В Америку они приехали почти десять лет назад, после освобождения из концлагеря. Но все эти годы Шарлотт боялась, что прошлое однажды настигнет ее. И это случилось. Письмо от человека, которого она желала забыть, вернуло ее в военный Париж, в книжный магазин, где она работала в годы оккупации. Вернуло к тем опасным и сложным отношениям, что толкнули их с дочерью на самый край пропасти, которой они избежали лишь чудом. В этой затягивающей истории о выживании, верности и любви всё оказывается не так, как поначалу кажется.

УДК 821.111
ББК 84(7Сое)

ISBN 978-5-86471-891-9

© Фелдман Э., 2020
© Фантом Пресс, 2020

Содержание

Пролог	6
Один	9
Два	16
Три	24
Четыре	33
Пять	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Эллен Фелдман

Париж никогда тебя не оставит

© Екатерина Ильина, перевод, 2021

© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2021

* * *

*Посвящается Стейси Шифф
и – снова – Стивену Рейбелу*

*Ненавидеть гораздо сложнее, чем кажется. Кроме как в
абстракции.*

Флора Гру, «Дневник в четыре руки», Париж, 1940—45

*Не суди ближнюю, пока не будешь на ее месте.
Гиллель Старший¹*

¹ Цитата – парафраз точного текста Гиллеля, который звучит так: «Не отделяйся от общества, ибо все мы одно, не суди ближнего, пока не будешь на его месте». – *Здесь и далее примеч. перев.*

Пролог

Париж, 1944

Они срывали звезды. Грязные пальцы с обломанными черными ногтями дергали, рвали, скребли. Кто бы мог подумать, что в них еще оставалось столько сил? Одна женщина зубами перекусывала нити, которыми звезда была пришита к ее изодранному жакету. Она, наверное, была когда-то хорошей швеей. Те, кому удавалось содрать звезды, швыряли их на землю. Какой-то мужчина плюнул на свою звезду. Кто бы мог подумать, что у него еще было чем плевать. И силы на это. Во рту у Шарлотт было сухо и мерзко от обезвоживания. Мужчины, женщины, дети яростно втаптывали в грязь истрепанные клочки ткани, одевая пожухшим покровом горя этот окруженный колючей проволокой клочок французской земли.

Присев на корточки возле Виви, Шарлотт принялась распускать стежки, которые удерживали звезду на ее замызганной розовой кофте. По закону желтую звезду были обязаны носить только дети от шести лет и старше, а дочери было всего четыре, но кофта досталась им от другой девочки, которую в порыве бюрократического отчаяния власти впихнули в поезд на Восток, где не хватало последней из тысячи запрошенных душ. Шарлотт успела забрать кофту себе, опередив остальных, – в лагере им разрешалось иметь личные вещи, если таковые еще у кого-то остались, – но звезду она спарывать не стала. Носить одежду с темным шестиконечным пятном на том месте, где была звезда, посчитали бы дерзостью, пускай даже тебе всего четыре года, а напрашиваться на неприятности им не стоило. Теперь Шарлотт наконец могла спороть эту звезду. И только когда с этим было покончено, она встала и принялась за свою.

Всю оставшуюся жизнь, сидя в самолете и слушая стюардессу, которая с улыбкой рассказывала о том, что в экстренной ситуации сначала нужно надеть кислородную маску на себя, а потом уже на ребенка, она вспоминала это утро и думала, что на стороне авиалиний – логика, но никак не сердце.

* * *

Ту сцену она наблюдала на площади в Дранси, в пригороде километрах в десяти к северо-востоку от Парижа, уже не в лагере для содержания и депортации евреев, коммунистов, социалистов и других врагов Рейха. Не знай она раньше, что здесь безопаснее, чем в хорошо знакомых и привычных для нее местах, – ее убедило бы то, что происходило здесь в этот день. Ей не хотелось смотреть, но почему-то она была не в силах отвести глаза: ненависть завораживала ее, страх лишал возможности двигаться.

Женщину ту они раздели до нижнего белья – бюстгальтер, трусы. Заношенные, посеребрившие клочки былой скромности или достоинства, а может, полузабытого чувства приличия, из лучших времен. Бюстгальтер был разорван на одном из сосков – результат недавнего насилия либо былой страсти, сложно сказать. Старик с испятанной табаком бородой протянул грязную руку и ущипнул розовую плоть. Толпа заревела от восторга. Молодой человек, гордо размахивавший винтовкой, тыкал ею в женщину, толкая ее то в одну сторону, то в другую, пока та не зашаталась на высоких каблуках, которые до сих пор были на ней. Туфли делали ее наготу еще более непристойной. Когда женщина пошатнулась, толпа углядела коричневое пятно сзади на ее изодранных панталонах. Опять же, трудно было сказать, след ли это того ужаса, который происходил с ней сейчас, или неопрятности в прошлом, но толпа заревела громче. Рев этот поглотил звон церковного колокола и продолжался, когда колокол уже затих. Было всего два часа дня.

– *Collabo*², – пронзительно завизжала какая-то женщина в толпе.

– *Collabo horizontale*³, – вторила ей еще одна, и повсюду в толпе женщины подхватили крик, передавая его друг другу, как в иных обстоятельствах передавали бы ребенка. И то и другое было следствием примитивного инстинкта защиты, пускай в данном случае они защищались от самих себя. Только самые ожесточившиеся или забывчивые, только те, кто ни разу даже не кивнул из вежливости расквартированному у них солдату, никогда не пробормотал *merci*, если немец придержал перед ними дверь, – только они не могли бы представить себя на месте этой женщины, которая корчилась сейчас от стыда, пока ее волосы соляными прядями сыпались на землю. Прошли те деньки, когда в доме у нее водились мясо, яйца и шампунь с черного рынка.

Шарлотт подумала о собственных волосах, которые от недоедания вылезали – клоками. С этим она смирилась, но вот когда у нее в руках начали оставаться тоненькие волосики Виви, Шарлотт перестала их расчесывать – как будто из этого мог выйти какой-то толк.

Женщины в толпе завывали от ярости, но мужчины – особенно те, кто молчал, – были куда опаснее, и не только потому что в руках у них были винтовки, ножницы и бритвы. От мужчин несло сексуальным насилием. Некоторые держались за пах, пока остальные толкали, щипали женщину, орали на нее. Другие – потные, ухмыляющиеся – утирали слюну с губ тыльной стороной ладони, облизывались, будто пробуя общее возбуждение на вкус. Их страна потерпела поражение. Они были унижены. Но это торжество мести, торжество справедливости, эта полуобнаженная женщина, запятнанная кровью, слезами и испражнениями, – это снова делало их мужчинами.

Двое парней – лет им было по шестнадцать-семнадцать, не больше – начали подталкивать женщину, чья бритая голова блестела под лучами солнца, косо бившими мимо церковного шпиля, к грузовику, который стоял на углу площади. Три женщины, лежавшие в кузове, – одна практически нагая, две другие полуодетые – даже не подняли головы, когда парни швырнули к ним новенькую.

Теперь толпа сжималась вокруг очередной женщины. Эта была при ребенке. Грязное хлопковое платье болталось неподпоясанным, один рукав был оторван напроочь, но все-таки платье на ней было. Быть может, присутствие ребенка пристыдило мужчин, а может, всего лишь понизило градус сексуального напряжения. Она не прижимала ребенка к груди, как матери обычно держат детей, а несла его под мышкой, будто сверток. Его ножки бессильно свисали, голова на тонкой шейке, лишенная поддержки, завалилась набок. Маленькое личико было сморщено, глаза крепко зажмурены, чтобы не видеть окружающее.

Шарлотт подхватила Виви, которая цеплялась за ее юбку, и прижала лицо дочери к своей шее. На то, что здесь происходило, не стоило смотреть ребенку. Никому не стоило на это смотреть.

Один из мужчин, который, кажется, был тут за главного – если здесь вообще мог быть кто-то главный, – схватил женщину за волосы и толкнул ее к *tondeur*⁴. Звук, который она при этом издала, был больше похож на блянье, чем на крик. Шарлотт ожидала, что ребенок сейчас заплачет. Но он только сморщился еще сильнее.

Волосы начали падать на землю. Они были длиннее, чем у той, первой женщины, которую раздели до белья, с ее коротким каре, и времени на них потребовалось больше. Быть может, именно поэтому один из мужчин в толпе сделал это. Ему стало скучно. Пока *tondeur* продолжал брить женщину, он выскочил вперед и нарисовал чернилами свастику у нее на лбу. Толпа довольно взревела.

² Коллаборационистка (фр.).

³ Здесь: шлюха; фашистская подстилка (фр.).

⁴ Стригаль (фр.).

Все еще всхлипывающую, сжимающую под мышкой безмолвного ребенка, ее оттолкнули к грузовику, и в центр площади втащили следующую. Прижав к себе Виви покрепче, Шарлотт принялась проталкиваться между теснившимися людьми. Толпа, опьяненная вершившимся правосудием и вином, которое продавали тут же одна предприимчивая дама и ее сын, но все еще не насытившаяся, – толпа толкала ее в ответ, не давая прохода, вынуждая ее остаться, щерясь на нее за ее малодушие, порицая за недостаток патриотизма. Она положила ладонь на затылок Виви, чтобы оградить дочь, и продолжала идти.

На краю толпы ей преградила дорогу Берта Бернхайм, та самая женщина из лагеря, которая так хорошо пришила свою звезду, что ей пришлось перекусывать нитки.

– Ты не можешь уйти, – сказала она, указывая на кучку людей на углу площади – нескольких женщин и одного мужчину, которые ждали своей очереди к *tondeur*'у. – Еще не закончилось.

Шарлотт помотала головой.

– Пока это будет продолжаться, оно никогда не закончится, – сказала она и пошла дальше.

Берта Бернхайм посмотрела ей вслед.

– Ну, эта просто святее всех святых, – заметила она, ни к кому в особенности не обращаясь.

Один

Нью-Йорк, 1954

Шарлотт заметила письмо сразу, как только зашла к себе в кабинет. Никаких особенных причин для этого не было. Ее стол был весь завален бумагами и конвертами. В маленьком кабинете – выгородке со стенами, не достоящими до потолка, – теснились на полках стопки рукописей, они же громоздились на двух стоявших тут же стульях. Уж точно дело было не в конверте. Большинство книг, которые она публиковала, были американскими изданиями трудов европейских авторов, и добрая доля ее корреспонденции приходила в таких вот тоненьких голубых конвертах авиапочты. Единственным объяснением, почему письмо привлекло ее внимание, было то, что она уже успела разобрать свою утреннюю почту, а полуденной доставки еще не было. Быть может, конверт попал по ошибке к другому редактору и он – или она – оставил письмо у нее на столе, пока она была наверху, в отделе художественного оформления. А может, конверт проглядел при утренней сортировке отдел писем.

«Гиббон энд Филд» был уважаемым издательским домом, но за кулисами сего предприятия витал некий легкомысленный душок. Виной тому был Хорас Филд, глава издательства. Он на слишком многое закрывал глаза, а может, просто был искусным интриганом. Изначально подозрения насчет этой его черты у Шарлотт возникли в первое Рождество, когда она еще только начала работать в издательстве. Они с Хорасом тогда закончили работу в одно и то же время, и, когда пришел вызванный ими лифт, в кабинке оказался молодой человек из производственного отдела, который прижимал к груди два или три крупноформатных альбома по искусству, пытаясь при этом не выронить еще несколько томиков более традиционного размера. Завидев Хораса, он залился краской вполне рождественского, но не особенно счастливого оттенка.

– Смотрю, ты принял нашу рекламу близко к сердцу, Сет, – сказал Хорас. – «В вашем списке подарков к Рождеству найдется книга для каждого».

Молодой человек покраснел еще гуще и, стоило дверям открыться, пулей выскочил из лифта. Это было необычно. Как правило, работники издательства уступали Хорасу дорогу – не только в лифте, но и вообще везде.

– Вычтешь книги из его жалованья? – спросила Шарлотт, когда они следом за несчастным Сетом вышли в фойе.

– Да вот еще.

– Это было бы для него уроком.

– Единственное, чему я хотел бы научить его, Чарли, – это трудиться как вол во славу «Джи энд Эф».

– И ты думаешь, что добьешься этого, поощряя его выносить из издательства похищенные книги?

– Я думаю, что когда в следующий раз он попросит и не получит прибавку к жалованью, то вспомнит все те книги, которые он стащил, и почувствует себя виноватым – или, по крайней мере, что ему заплатили сполна. Да то же самое со служебными расходами редакторов и командировочными. Они думают, будто потихоньку обчищают мои карманы, но на деле нечистая совесть порождает раскаяние. Может быть, даже верность. У них появляется чувство, будто они теперь в долгу перед издательством. А вот ты вызываешь у меня опасения. Твои отчеты – это просто курам на смех. Если другие редакторы о них пронюхают, они никогда тебе не простят, что ты портишь им картину.

Эта специфическая философия Хораса пронизывала все издательство, начиная с грандиозных афер в производственном отделе, которым руководил человек, по слухам, связанный с мафией, и заканчивая мелким жульничеством и работой спустя рукава в отделе писем. В

этом, наверное, и была причина, почему письмо доставили так поздно. И только поэтому оно и бросилось ей в глаза. Никакого шестого чувства, в которое она совершенно определенно не верила.

Шарлотт уселась за стол и взяла в руки конверт. Ее имя и адрес «Джи энд Эф» были написаны от руки, а не напечатаны на машинке. Почерк незнакомый. В левом верхнем углу не было обратного адреса. Она перевернула конверт. Стоило ей увидеть имя, она поняла, почему ей не удалось узнать почерк. Когда они могли что-то друг другу писать? Хотя нет, это была неправда. Один раз он ей написал – год, наверное, спустя после войны. Письму потребовалось несколько месяцев, чтобы добраться до нее сквозь все лабиринты архивов лагеря Дранси и разнообразных агентств в Нью-Йорке. Это ее успокаивало. Он и понятия не имел, где она находится, а сам до сих пор был в Германии. На то письмо она так и не ответила. Обратным адресом на новом письме стояла Богота, Колумбия. Значит, он все-таки выбрался. Она была этому рада. А еще она почувствовала облегчение. Южная Америка далеко.

Ее тревожило не его местонахождение, а то, что он теперь знал, где жила она. Ей казалось, что она была так осторожна. В телефонных справочниках не было ни ее адреса, ни номера. Люди, которые старались помочь ей устроить ее новую жизнь, – социальные работники и доброты из всевозможных организаций для беженцев; ее коллеги в «Джи энд Эф» и из других издательств; жена Хораса Филда, Ханна, – все они находили это глупым и асоциальным.

– Как же ты собираешься устраивать свою жизнь в новой стране, – спросила Ханна, – если никто не может тебя найти?

Шарлотт не стала с ней спорить. Она просто продолжала регулярно платить небольшую сумму, чтобы ее имя не появлялось в справочниках. Мало-помалу и Ханна, и все остальные перестали задавать ей вопросы, решив, что это одно из последствий того, через что ей пришлось пройти. Никто, включая Ханну, и понятия не имел, через что именно, но это не мешало людям строить догадки.

Найти ее рабочий адрес было немногим легче, хотя это, очевидно, ему удалось. В списке редакторов, который всегда присутствовал на бланках издательства с левой стороны, ее имя не указывалось. Издательства, как правило, не печатали имена редакторов на фирменных бланках, но это было еще одной эксцентричной поблужкой Филда. Спустя год после того, как она начала работать в «Джи энд Эф», он спросил ее, не хочет ли она, чтобы ее имя стояло в списке.

– Считай, что это откат, – сказал он.

– «Откат»? – переспросила Шарлотт. Она говорила на четырех языках, читать могла еще на двух, а ее диплом в Сорбонне был посвящен английской литературе, но когда дело доходило до американского сленга, она иногда терялась.

– Компенсация за то нищенское жалованье, которое мы тебе платим.

– По крайней мере, ты не предложил мне взять разницу украденными книгами, – заметила она, а потом добавила, что не хочет видеть свое имя на бланках издательства, но все равно очень ему благодарна.

И все же, несмотря на отсутствие ее имени в телефонных справочниках или на фирменных бланках издательства, оно время от времени появлялось на страницах с благодарностями в книгах, над которыми она работала. «Приношу мою благодарность Шарлотт Форэ за то, что она твердой рукой направляла мой корабль сквозь бурные воды американского издательского мира»; «Спасибо Шарлотт Форэ, которой первой пришло в голову, что книга о Золотом веке Нидерландов, написанная голландцем, может оказаться интересной американскому читателю». Вопрос только в том, как ему удалось раздобыть в Европе – или теперь уже в Южной Америке – книгу, изданную в Штатах. При посольствах обычно имелись библиотеки, призванные распространять учения американских проповедников среди местного населения, но отредактированные ею книги редко служили этой цели. И все же он, должно быть, нашел одну. Или же выследил ее через какое-нибудь агентство, занимавшееся беженцами. Оказавшись в Америке,

она не стала поддерживать контакт с эмигрантскими кругами – или с беженцами, разницы особой не было, – но вначале ей пришлось предоставить все требуемые документы и получить все необходимые бумаги. При желании ее можно было выследить.

Она сидела за своим столом и разглядывала конверт. Штампа о вручении нет. Как и никаких доказательств, что она его получила. А даже если и так, она не обязана отвечать на каждое письмо, которое ей приходит. Нет такого закона. Она, правда, старалась отвечать авторам-новичкам на письма, приходившие вместе с рукописями, но у нее для этого имелись стандартные заготовки. «Идея интересная, но, боюсь, тематика не вполне соответствует нашему направлению». «Книга написана прекрасно, однако боюсь, что характеры героев не полностью раскрыты / сюжет не слишком правдоподобен / в Америке нет читателя для литературы подобного рода». Но для теперешней ситуации у нее не было заготовлено никакого шаблона – какой бы эта ситуация ни была. Общие воспоминания? Вряд ли ему захотелось бы вспоминать те дни – не больше, чем ей. Любовь? Даже тогда она говорила себе, что это просто смешно. Деньги? После прошлогодней церемонии вступления в гражданство она стала американкой, а всякий, кто не был американцем, знал, что все американцы – богачи. Но из всех ее предположений это было самым маловероятным.

Из коридора долетели голоса – и запах трубочного табака, который проник в ее кабинет поверх перегородки матового стекла. Обладателем трубки был Карл Ковингтон, фатоватый мужчина с гривой белоснежных волос, самую чуточку длинноватых. Карл метил в великие старцы от издательского мира, но быть великим старцем трудновато, когда издательство, в котором вы работаете, принадлежит слегка повзрослевшему вундеркинду от издательского мира. Голоса принадлежали Фейт Сильвер, чьи претензии на известность проистекали из короткой дружбы с Дороти Паркер⁵ в дни ее славы, и Биллу Куоррелзу, великовозрастному дитяти с замашками мужчины и половым сознанием подростка. По словам одной из секретарей, которая ездила на работу из того же городка в округе Уэстчестер, что и Билл, каждое утро, сходя с поезда на Центральном вокзале, он опускал руку в карман и потихоньку стягивал с пальца обручальное кольцо, а каждый вечер, возвращаясь домой, надевал обратно. Все трое держали путь на редакционную планерку, проходившую по средам.

Фейт высунула из-за загородки свою темноволосую голову, остриженную под старомодное каре в стиле Дороти Паркер.

– Настало время препоясать чресла – и в бой, – сказала она.

Шарлотт оторвала взгляд от бледно-голубого конверта. И письмо будто само собой спланировало прямо в корзину для бумаг. Она встала:

– Одну минуту, я вас догоню.

Голоса теперь слышались дальше по коридору.

Она начала было собирать бумаги, но потом отложила их и, открыв нижний ящик стола, достала сумочку и взяла из нее пудреницу и помаду. Шарлотт была убеждена, что на эти встречи лучше приходить во всеоружии.

Проводя пуховкой по щекам, она поднесла пудреницу поближе, чтобы рассмотреть лицо. Матовая фарфоровая кожа, которой она так гордилась, когда была еще совсем девушкой, стала грубее, но, по крайней мере, ушла болезненная желтизна прошлых лет. Она пригладила седую прядь, блестящую в ее темных волосах. Иногда она думала ее закрасить, но почему-то так и не собралась. И дело было вовсе не в том, что Шарлотт цеплялась за прошлое. Просто ей нравился драматический эффект. Кончиками пальцев она разгладила морщинки в уголках глаз, будто могла заставить их исчезнуть, хотя всем прекрасно известно, что это невозможно. Может, даже и не нужно.

⁵ Дороти Паркер (1893–1967) – американская писательница и поэтесса.

Пару недель назад одна предприимчивая продавщица в отделе косметики в «Сакс»⁶ на Пятой авеню пыталась продать ей крем от морщин со словами: «Этот крем сотрет ваше прошлое». Это обещание настолько ужаснуло Шарлотт, что она отложила тюбик помады от Элены Рубинштейн, который собиралась купить, повернулась и вышла из магазина. Только глупец захочет стирать свое прошлое. Единственная ее надежда состояла в том, чтобы не забывать о нем – и оставаться настороже.

Даже сейчас ей снилось по ночам, будто Виви плачет, – не обычное младенческое хныканье из-за какого-нибудь легкого недомогания, а яростные завывания, вызванные пустым желудком, пробиравшим до костей холодом и непрерывным зудом от сыпи, и укусов насекомых, и загноившихся болячек. Иногда плач во сне становился таким громким, что Шарлотт просыпалась и вскакивала с кровати, не успев понять, что звук существует только у нее в голове. Все еще в поту, она делала несколько шагов по короткому коридору, отделявшему ее спальню от комнаты дочери, и, стоя у кровати Виви, прислушивалась к ее ровному тихому дыханию в чудесной нью-йоркской ночи, покой которой прерывался не грохотом сапог на лестнице или стуком в дверь, а редкими звуками сирен, говорившими скорее о возможной помощи, чем о неприятностях.

В дневные часы ее кошмары, связанные с дочерью, принимали иной характер. Легкий кашель Виви становился первым признаком чахотки, легкое расстройство желудка – предвестником дремавшей инфекции, сыпь – рецидивом болезни, и знание о том, что теперь у них есть пенициллин, никак не уменьшало ужаса Шарлотт. Да и как Виви могла спастись оттуда безо всяких последствий. Ее худенькое четырнадцатилетнее тело должно было нести в себе семя дремлющей до поры болезни.

Сидя в зале во время школьных спектаклей, Шарлотт мысленно сравнивала Виви с другими девочками. Была ли ее дочь паршивой овечкой? Может, голод навсегда деформировал ее кости? Может, страх и постоянные сожаления матери нанесли психике дочери травму? Но по Виви, стоявшей среди своих одноклассниц в белой крахмаленной блузке и синем джемпере, никак нельзя было заметить тех трудностей, которые ей довелось пережить в раннем детстве. Ее темные волосы блестели в свете огней рампы, ноги в темно-синих гольфах были по-жеребьячи длинными, а улыбка солнечной и неправдоподобно белозубой. Все те часы в очереди за продуктами, все те крохи, которые Шарлотт удавалось раздобыть и в которых она себе отказывала, чтобы накормить Виви, весь тот риск, даже жертвы, на которые она шла, стоили того. Виви выглядела точь-в-точь как одноклассницы, уж наверняка не хуже.

* * *

И все же отличия были. Она была одной из двенадцати учениц – по одной представительнице от каждого класса, – получавших стипендию. Остальные девочки жили в просторных апартаментах, дуплексах или пентхаусах на Парк-авеню или Пятой авеню⁷, с родителями, братьями, сестрами, собаками и прислугой. Виви и ее мать обитали в четырех комнатных на верхнем этаже старого, по американским меркам, браунстоуна⁸ постройки семидесятилетней давности на Девяносто первой Восточной улице. На Рождество другие девочки отправлялись к бабушкам и дедушкам, обитавшим в местах, словно сошедших с литографий «Карриера и Ивза»⁹, или на север и на запад, чтобы покататься на лыжах, или на юг, на солнышко. Виви и

⁶ Легендарный нью-йоркский универсальный магазин, основанный в 1924 году.

⁷ Респектабельные улицы в Нью-Йорке.

⁸ Расхожее название старинных (по американским меркам) жилых нью-йоркских домов, в основном ленточной застройки.

⁹ Успешная фирма по производству гравюр, находившаяся в Нью-Йорке с 1835 по 1907 год. Большим успехом пользовались литографии с картин известных художников, отпечатанные в черно-белом варианте и раскрытые от руки.

ее мать приносили с базара на Девяносто шестой улице небольшую елочку, ставили ее в углу гостиной и наряжали приобретенными у «Би Олтмена»¹⁰ в первый же год игрушками, к которым потом прибавлялись все новые. Игрушки были новшеством, но елка – настаивала Шарлотт – представляла собой традицию. Ее семья всегда праздновала Рождество. Понадобился Гитлер, любила говорить она, чтобы сделать ее еврейкой. Это было еще одной чертой, отделявшей Виви от остальных. Еврейских девочек в школе было еще меньше, чем стипендиатов. Ни одно из этих обстоятельств никогда не упоминалось – по крайней мере, как говорится, в приличном обществе.

Но важно было то, что, вопреки всем пережитым лишениям, ее дочь выглядела цветущей. Только вчера, сидя вечером в гостиной, Шарлотт подняла глаза от очередной рукописи и увидела Виви, которая, устроившись за обеденным столом, делала домашнее задание. У нее в комнате имелся письменный стол, но Виви предпочитала общество матери. Специалисты, которых читала Шарлотт, утверждали, что вскоре это прекратится, но она им не верила. Специалисты делали свои выводы на основе обобщений. А они с Виви были случаем уникальным. Виви сидела, поджав под себя одну ногу в ботинке-«оксфорде», склонившись над книгой, сосредоточенно закусив губу, и ее волосы падали блестящим занавесом. Глядя на дочь, Шарлотт еле сдерживалась, чтобы не закричать от радости при виде этого чуда.

Она убрала сумочку обратно в ящик стола, вышла из своего кабинета и направилась по коридору в сторону комнаты для совещаний. Хорас Филд уже сидел на своем месте во главе длинного стола. На планерки он всегда являлся раньше всех остальных. Отчасти по той причине, что он был человек нетерпеливый, – но только отчасти. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, но расслабленная поза и свободного покроя твидовый пиджак не могли скрыть мощи мускулистых рук и плеч. Иногда Шарлотт становилось интересно – может, он до сих пор считает себя тем поджарым молодым человеком с размашистой походкой, бывшим студентом-теннисистом, которого она видела как-то на фотографии в старом, довоенном еще номере «Паблшерз уикли»? На снимке у него были аккуратные усики, и, пока она сидела за своим столом, изучая изображение, к ней пришла уверенность, что он отрастил их, чтобы выглядеть постарше. В те времена им случилось познакомиться, но она была тогда слишком молода, чтобы понять, насколько молод он сам. Он тогда и вправду был чудо-мальчиком. Теперь усы исчезли, а волосы надо лбом поредели. Она заметила, что когда взгляд Карла Ковингтона падал на Хораса, рука у него невольно начинала тянуться к собственной белоснежной гриве. Хорас, должно быть, тоже это заметил, потому что в какой-то момент он рявкнул на Карла, чтобы тот прекратил наглаживать себя, точно чертову собаку. Лицо Хораса, невзирая на поредевшие волосы, все еще было мальчишеским, кроме как в те редкие моменты, когда он не знал, что на него смотрят. Тогда между льдисто-голубыми, внимательными глазами у него появлялись хмурые – нет, яростные – морщины. Застать врасплох его было немислимо.

– Как мило с вашей стороны присоединиться к нам, мон Женераль, – сказал он, пока она усаживалась, произнеся слово «генерал» на французский манер. Наедине с ним она была Чарли, при других – Шарль или Женераль, причем и то и другое произносилось с французским акцентом. Лучше бы он от этого воздержался. Прозвища, пускай даже довольно формальные, подразумевали близость, которой на самом деле не было. Он был к ней добр, и она была ему за это благодарна, но щедрость и благодарность не имели ничего общего с близостью между людьми. С ее точки зрения, все было, скорее, наоборот. Особенно с ним. Тот молодой человек со старой фотографии имел определенную репутацию – если не бабника, то, по крайней мере, опасного сердцееда. Хотя она была практически уверена, что те дни остались для него позади.

Остальные редакторы уже успели рассестись вокруг стола, нетерпеливые, будто скаковые лошади перед забегом, мысленно фыркая и роя землю копытом в надежде вырваться вперед

¹⁰ Роскошный универсальный магазин, основанный в 1865 году Бенджамином Олтменом.

со стопроцентным бестселлером или хотя бы подпустить в свою речь удачную остроту либо шпильку в адрес коллеги. Планерка началась.

У Карла Ковингтона имелась биография Линкольна, написанная знаменитым ученым.

– О нет, еще одна, – простонал Билл Куоррелз.

– Правило десяти лет, – ответил Карл. – Если десять лет не выходило ни одной биографии, значит, время пришло. А книги про Линкольна продаются.

Уолтер Прайс, начальник отдела продаж, кивнул:

– Книги про Линкольна продаются. А еще книги про врачей и про собак. Так что я не возьму в толк, почему никто из вас, гениев, не сумел найти книгу про собаку врача Линкольна, которую я смог бы продать.

Дискуссия свернула на цифры продаж предыдущих книг автора, сумму за покупку прав на издание в мягкой обложке (новое послевоенное явление) и размер агентских вознаграждений. Хорас был немногословен, но его кивок в конце дискуссии был красноречивым. Карл сказал, что сделает автору предложение насчет покупки прав.

У Билла Куоррелза имелся роман о морском пехотинце, который участвовал в боях по всему Тихому океану.

– Погоди-ка, дай догадаюсь, – сказал Карл. – Автора зовут Джеймс Джонс.

– Рынок военной литературы достиг своего пика, – предупредил Уолтер.

Оба они – и Уолтер, и Карл – были слишком стары для войны, а Билл – чересчур молод. Ни один из них не смотрел на Хораса, пока говорил.

Потом настала очередь Фейт. У нее был дебютный роман о жизни в маленьком городишке в Новой Англии. Действие разворачивается медленно, признала она, но написано очень хорошо, и разве не для того они печатают всякую выгодную халтуру, чтобы иметь возможность публиковать такие вот литературные сокровища? На вопрос никто отвечать не стал, но Шарлотт, которая тоже прочла рукопись, поддержала Фейт. Хорас кивнул в знак одобрения. Никто даже не упомянул про деньги, всем и так было все понятно. Фейт была в деле уже достаточно долго, чтобы знать: аванс за подобную книгу составит лишь несколько сотен долларов.

Шарлотт рассказала о книге, посвященной взаимодействию политики, дипломатии и искусства в Италии эпохи Возрождения. Это предложение тоже было встречено молчанием. У нее в «Джи энд Эф» было что-то вроде суверенной территории. Книгами, которые она находила, интересовался исключительно Хорас, если только это не был какой-нибудь иностранный роман, который наверняка попадет под цензуру. Тут всем срочно требовалось взглянуть на рукопись. Но сейчас книга проскочила практически без обсуждения – с кивком. И, опять же, скудный аванс был чем-то само собой разумеющимся.

Так оно и шло добрых два часа. Редакторы докладывали о книгах, заключали союзы, перекидывались на сторону врага. Весь процесс напоминал Шарлотт папские конклавы, о которых ей приходилось читать. Вот только белого дыма в конце планерки не хватало.

Она собрала бумаги и уже направлялась к дверям, когда ее нагнал Билл Куоррелз.

– Тебе удалось проглядеть тот роман? Ну, который про американского шпиона, брошенного во Францию, еще до высадки?

– Ты разве не получал мою записку?

– Ты написала только, что это «невероятно эротично».

– Я написала, что это эротически невероятно. Да любой шпион, который проводит столько времени в постели, был бы мертв спустя двадцать четыре часа после заброски. Ну, может, я дала бы ему сорок восемь.

Он подался вперед, нависнув над ней своей массивной фигурой:

– Ты это говоришь исходя из личного опыта?

Она размышляла, стоит ли вообще отвечать, когда это произошло. Они стояли в дверях, повернувшись к комнате для совещаний спиной, и не видели, что на них надвигается. Хорас

Филд, раскрутив колеса кресла своими огромными руками, пронесся между ними. С ней он разминулся буквально на волосок, но умудрился проехаться по правой ноге Билла Куоррелза в ботинке кордовской кожи. Хорас всегда прибывал на планерки первым, потому что не любил, когда кто-то смотрел, как он маневрирует в своем инвалидном кресле, но это не значило, что он не умел с ним обращаться.

– Ой! – завопил Билл и отпрыгнул с дороги, но слишком поздно.

– Прости, Билл, – крикнул ему через плечо Хорас, стремительно удаляясь по коридору.

* * *

О выброшенном письме Шарлотт не забыла. На планерке она время от времени ловила себя на том, что возвращается мыслями к голубому конверту. Читать письмо ей не хотелось, но она знала, что сделает это. Она даже не очень понимала зачем. Стереть прошлое она не могла, что бы там ни обещала продавщица из отдела косметики в «Сакс», но и жить прошлым не имела ни малейшего намерения. И все же это почему-то казалось ей неправильным – выкинуть письмо, даже его не прочитав. Она приняла твердое решение выудить письмо из корзины для бумаг, как только вернется к себе в кабинет, но никак не рассчитывала застать там Винсента Айелло, начальника производственного отдела, который явно ее поджидал.

– Помните тот ваш детектив, где действие происходит в Марокко?

На секунду она решила, что он и впрямь прочел наконец одну из книг, печатью которых заведовал, и теперь решил рассказать ей, что ему понравилось.

– Тираж переплетен, – сказал он.

– Раньше срока. Это прекрасно.

– Не так уж прекрасно. В книгах нет последней страницы.

– Надеюсь, вы шутите.

Он пожал плечами.

– Но это же детектив, Винсент. То есть не будь это детективом, все равно это было бы катастрофой. Но читатели, как правило, хотят узнать, кто убийца.

– Взгляните на это с другой стороны. Теперь это, типа, набор «сделай сам». Да мы этак новую моду введем.

– Что, весь тираж?

– До единого экземпляра.

– Это будет за счет вашего бюджета, не моего.

– Да к черту эти бюджеты. Я объявляю награду тому, кто сломает переплетчикам коленные чашечки.

Тут он ухмыльнулся, как бы подтверждая ходившие о нем слухи, – верит она им или нет.

* * *

Она стояла на Мэдисон-авеню в ожидании автобуса, предаваясь мрачным размышлениям на тему полного тиража детективов, обрывающихся на самом интересном месте. И внезапно вспомнила про письмо. Какую-то секунду она колебалась, не вернуться ли обратно, но потом посмотрела на часы и решила отправиться прямо домой. Она была не против оставить Виви одну на пару часов после школы, в особенности если Ханна Филд заканчивала к этому времени прием пациентов и заманивала Виви в гости, на домашние пироги и печенье, – но сейчас Шарлотт предпочитала быть дома, чтобы успеть приготовить ужин и поесть с дочерью вместе. Завтра утром она первым делом достанет из корзины письмо. А если сегодня один из тех вечеров, когда приходят уборщицы, – что ж, ничего не поделаешь. Не то чтобы она собиралась на него отвечать. Вообще-то так даже лучше. Решение будет принято за нее.

Два

Она вышла из автобуса и осторожно двинулась по Девяносто первой улице, поглядывая себе под ноги. Становилось темно; дождь прекратился, и под ногами у нее был скользкий ковер палой листвы. Из широких эркеров старых нью-йоркских браунстоунов и веерных окон, с причудливыми переплетами, на улицу, сея отблески в лужах, лился свет. Иногда Шарлотт сдерживала шаг и некоторое время вглядывалась в эти залитые светом комнаты. Ей была любопытна протекавшая за ними жизнь. Атмосфера надежности и покоя завораживала, хотя ей и было прекрасно известно, что это всего лишь иллюзия. Шарлотт стояла под чужим окном, вдыхая легкий аромат древесного дыма, и внезапно ее захлестнула ностальгия, хотя она не смогла бы сказать, по чему именно. Уж точно не по горьковатому запаху горящих бумаг. Понимание пришло внезапно. Этот дымный запах напомнил ей о камине, который разжигали вечерами в доме бабушки в Конкарно¹¹, когда становилось сыро. Они с матерью всегда мечтали поехать как-нибудь на летние каникулы на юг – одна из немногих вещей, которые объединяли их с матерью против отца, – но отец каждый раз настаивал на визите к его матери, и переубедить его было невозможно. Чем старше становилась Шарлотт, тем скучнее были эти недели, проведенные в Бретани, и тем сильнее она дулась. Но чего бы она только не отдала сейчас, чтобы оказаться там – вместе с Виви. Она представила себе, как они идут вдвоем по длинной, обсаженной тополями дороге – и вот Виви срывается с места, завидев море. Шарлотт расправила плечи, стараясь прогнать видение из головы, и снова зашагала вперед.

Еще полквартала, и она отворила кованые железные ворота, от которых вели вниз, во двор, три ступеньки. Рядом со ступеньками спускался короткий цементный пандус. Некоторые утверждали, что Хорас продолжает жить в этом старом нью-йоркском браунстоуне из чистого упрямства. Если бы они с Ханной переехали в какие-нибудь апартаменты, он бы без труда попадал с улицы в подъезд, а дальше – на лифте. Другие настаивали, что если Хорас продолжает жить в доме, где прошло его детство, то, может, он вовсе не такой прожженный циник, каким хочет казаться. У Шарлотт имелось третье объяснение, которым она, однако, не делилась ни с кем, даже с Хорасом. В особенности с Хорасом. Швейцары и лифтеры в таких вот многоквартирных домах разбивались бы в лепешку, чтобы помочь человеку в инвалидном кресле, и дело не только в рождественской надбавке. Эти люди, в общем и целом, относились бы к нему уважительно – по крайней мере, внешне, – и многие из них прошли войну. Хорас бы этого не потерпел. Их забота была бы для него унижительна, а снисходительное отношение привело бы в ярость. Поэтому он пристроил к лестнице пандус снаружи дома, а внутри установил лифт.

Она закрыла за собой ворота, пересекла вымощенный плиткой дворик, где, пламенея в надвигающихся сумерках, цвели в горшках желтые и оранжевые хризантемы, и отворила стеклянную, с коваными железными переплетами дверь, ведущую в холл.

Когда некоторое время спустя Шарлотт размышляла о произошедшем, то решила, что виной всему письмо, выкинутое в корзину для бумаг. В тот момент она о нем совсем не думала, но, по-видимому, письмо продолжало маячить на задворках ее подсознания. Другого объяснения посетившей ее галлюцинации не было.

Перед ней, подняв к голове руку, стояла женщина, держа у виска палец, точно дуло пистолета. Совершенно внезапно Шарлотт очутилась в холодном сыром подъезде в доме на рю Ваван. Глаза консьержки, черные и жесткие, точно угольки, неотступно следовали за ней и Ви, когда они в полутьме пробирались к лестнице. Когда они были уже на ступеньках, консьержка из того старого многоквартирного дома подняла палец к виску, будто спуская курок.

¹¹ Конкарно – город на северо-западе Франции.

– *Après les boches*¹², – прошипела она, и слова эти точно обдали Шарлотт кипятком.

А потом, однажды вечером, уже почти перед самым Освобождением, Шарлотт несла Виви на руках, и консьержка, выйдя из своей каморки, преградила ей путь. Стоя в нескольких дюймах от нее, она подняла сложенные «пистолетиком» пальцы уже не к своему виску, а ко лбу Виви.

– *Après les boches*, – хрипло протянула она, будто пела колыбельную, и спустила воображаемый курок.

Шарлотт судорожно схватилась за ручку двери и закрыла глаза. Когда она их открыла, то снова находилась в элегантном холле с полом, выложенным черной и белой плиткой, но перед ней стояла вовсе не ее бывшая консьержка, а, должно быть, одна из пациенток Ханны Филд, которая поправляла шляпку перед зеркалом в позолоченной раме. Отвернувшись от своего отражения, женщина кивнула Шарлотт, потянула на себя тяжелую входную дверь и исчезла.

Шарлотт осталась стоять посреди холла, обливаясь потом в своем тоненьком плаще, к которому даже поленилась пристегнуть с утра подкладку. Она ненавидела себя за этот страх, но и эту женщину тоже – за то, что та этот страх пробудила. *Après les boches*. Эта фраза всегда лежала там, в мутных отравленных глубинах ее подсознания, только и ожидая случая подняться на поверхность. Эта фраза – и еще одна, еще более кошмарная, но об этом она думать не будет.

Она принялась подниматься по лестнице. Домашним лифтом она пользовалась редко. У американцев имелась привычка использовать для подъемов и спусков что угодно, кроме собственных ног, но ей это всегда казалось проявлением избалованности, а заходить в этот лифт было для нее нарушением личных границ Хораса и Ханны. Кроме того, Шарлотт нравились физические упражнения. Ее радовало, что ее болезненная худоба ушла. Она где-то читала, что в среднем каждый парижанин потерял за Оккупацию около сорока фунтов. Но набирать лишний вес ей не хотелось.

На первой площадке было как-то темновато, одна из лампочек в люстре на потолке не горела. Это было странно. Ханна не терпела беспорядка. Шарлотт посмотрела через плечо назад, в холл. Помещение было погружено в полутьму. А та женщина так и стояла, отвернувшись от нее, и поправляла шляпку. Кто угодно мог принять ее за кого-то другого.

* * *

Они сидели, купаясь в сиянии желтых с белыми прожилками обоев, которые Ханна выбрала для них еще до того, как они въехали. Большинство хозяев, как узнала со временем Шарлотт, готовясь к приезду новых жильцов, покрасили бы пару стен в квартире и тем ограничились. Но, как часто повторяла Ханна с тех пор, как встретила Шарлотт и Виви на корабле тем утром почти уже девять лет назад, они были больше чем просто жильцы. Хорас знал отца Шарлотт еще до войны, а Ханна с радостью предвкушала, что в доме появится ребенок. Так что она не просто покрасила стены, но и поклеила обои, и взяла Виви с собой выбирать ковер и занавески, и даже заменила старый, дышащий на ладан холодильник на новый. В то время Шарлотт этого не понимала, потому что ей казалось, что в Америке ее со всех сторон окружает роскошь, но теперь она знала: то, что Ханне удалось раздобыть новую кухонную технику практически сразу после войны, указывало на ее незаурядные способности.

Узор на обоях, матово сиявших вокруг Шарлотт и Ви, назывался «Невинность». Где еще, кроме как в Америке, подумала Шарлотт, люди могут верить, что стенам можно сообщить *naïveté*?¹³ И все же она не могла не восхищаться вкусом Ханны.

¹² После бошей (фр.).

¹³ Наивность (фр.).

Зеркало над камином было слегка наклонено, так что она могла видеть в нем их обеих, как они сидят за маленьким столиком между камином и барной дверью на кухню, она – в рубашке и брюках, в которые переделалась, чтобы приготовить ужин, Виви все еще в школьной форме. Обои были такими солнечными, а свет настенных ламп таким мягким, что, казалось, они и вправду купаются в золотом сиянии. И тут Виви заговорила.

– Как так ты никогда не говоришь о моем отце?

– «Почему ты никогда не говоришь о моем отце?» – поправила ее Шарлотт. Она вовсе не собиралась тянуть время. По крайней мере, это не было ее единственным намерением.

– Почему ты никогда не говоришь о моем отце? – спросила Виви.

В самом вопросе не было ничего нового. Время от времени Виви спрашивала об отце, которого никогда не знала. Но сейчас впервые в вопросе прозвучала обвинительная нотка. Или Шарлотт это просто слышалось после той воображаемой встречи с консьержкой в холле?

– Я говорю о нем. Только это и делаю. Что ты хочешь знать?

Виви пожала плечами.

– Каким он был?

Шарлотт на какую-то секунду задумалась. Теперь она уже точно не тянула время. Она пыталась вспомнить. Но это походило на попытки уловить чувство из лихорадочного сна, когда температура уже вернулась к нормальной. У всего мира температура вернулась к нормальной. Иногда она задумывалась, поженились бы они, если бы не началась война, если бы его не призывали на фронт, если бы они не ощущали вес внезапно обрушившегося на них неуправляемого бега времени, если бы не видели в себе актеров какой-то трагической пьесы или фильма. Пылала бы ее кожа под его прикосновениями в не столь лихорадочные времена? Смогли бы они обнимать друг друга с нежностью, а не с отчаянием? Она ни о чем не жалела. Она испытывала благодарность за то, что у них было. И потом, без Лорана у нее не было бы Виви. Но беспросветность отчаяния – не то, о чем станешь рассказывать своему ребенку.

– У него был оригинальный ум, – сказала она наконец.

– Что это значит?

– Это значит, что мне никогда не было с ним скучно. Больше того, я им восхищалась. Он умел видеть вещи, которые другие не видели, делал выводы, до которых другие не додумывались. – Это уже было лучше. Ей удалось нащупать нужный тон.

– А что еще?

– Он обладал чутким моральным компасом.

– Чем-чем?

– У него было развито чувство плохого и хорошего.

– А-а.

Это было явно не то, что Виви хотелось услышать.

– Он бы тобой гордился, – попробовала Шарлотт еще раз.

– Как ты можешь это знать?

– Потому что ты умная. Это было для него очень важно. И хорошенькая. (Тут Виви самокритично скорчила рожицу.) Это тоже было для него важно – по крайней мере, в женщинах. И у тебя тоже есть моральный компас.

– У меня?

– Люди тебе безразличны. Ты всегда стараешься поступать правильно.

Виви на секунду задумалась.

– Иногда я не знаю, что правильно, а что нет.

– В этом ты не одинока.

– Даже когда ты уже взрослая?

– Особенно когда ты уже взрослая.

– Но ты сказала, что отец знал.

Шарлотт медлила с ответом. У Лорана имелись моральные принципы и устои, но не так уж много шансов воплотить их в жизнь. Одно из преимуществ, когда умираешь молодым. Наверное, даже единственное. Но Виви она об этом говорить не собиралась.

– Он делал все, что мог, – сказала она.

Виви положила в рот кусочек омлета. Наконец-то.

– Расскажи мне о нем побольше.

Шарлотт принялась размышлять. Она была редактором. Все дни напролет она работала со словами, с образами и историями. Уж конечно, она сможет создать такого отца, который пленит воображение Виви.

– Он был просто вне себя от радости, когда ты родилась.

– А я думала, когда я родилась, его рядом не было.

В комнате с белыми голыми стенами она совсем одна. Никогда в своей благополучной, сытой жизни она не была еще настолько одинока. Сестры-монахини то приходят, то уходят, но толку от них никакого. Утешения уж наверняка не дождешься. Она сама по себе. Мы рождаемся в одиночестве и умираем в одиночестве – так говорил Лоран. Рожаем мы тоже в одиночестве, хочет она кому-нибудь сказать, но сказать некому. Лоран уехал на фронт, где бы этот фронт ни находился. Сестры и пациенты рыдают, внимая захваченному немцами радио, которое трещит, что французская армия – это стадо, которое не знает даже, куда бежать. Ее мать умерла три года назад. Шарлотт до сих пор не смирилась с тем, насколько не вовремя это произошло. Это было просто несправедливо: она всегда была мятежным ребенком, и ее отец-иконоборец был ей ближе, чем мать, которая была более традиционного склада, и только Шарлотт начала как следует узнавать ту хрупкую, уязвимую женщину, которая скрывалась за ее видимым всем обликом – изящно одетой, безупречного поведения дамой, – как мать унес стремительно развившийся рак. Ее отец, издатель левого толка, дружил с премьер-министром Леоном Блюмом, евреем и социалистом; тот еле успел покинуть страну, когда ее заняли немцы. Ему не нужно было узнавать, есть ли его имя в их списках. Родители Лорана, люди пожилые, были, как она надеялась, в безопасности на юге Франции. Они хотели, чтобы Шарлотт поехала с ними, но она боялась, что начнет рожать в дороге. Кроме того, что, если Лоран вдруг вернется домой? И не застанет ее? С Симон она отказалась ехать по тем же причинам.

– В таком случае я останусь с тобой, – сказала Симон, но Шарлотт была непреклонна, и в конце концов Симон сдалась. Они всегда были подругами, все равно что сестрами – так они обе говорили, потому что сестер не было ни у той, ни у другой. Они всегда были вместе, с тех пор как еще совсем маленькими вдвоем играли в Люксембургском саду, но теперь у Симон был собственный ребенок, о котором ей нужно было заботиться. И она тоже уехала, забрав с собой трехлетнюю Софи. Даже местный бакалейщик и тот уехал. Она видела их, когда шла пешком в больницу: люди брали штурмом такси, привязывали свои пожитки на крыши автомобилей, набивали фургоны кроватями, цветочными горшками, сковородками, портретами предков и клетками с канарейками и попугаями. Этого она не силах понять. Собаки, кошки – да, но птички? Когда город истекает кровью, когда кончается мир? С неба сыплется пепел. Он ест ей глаза, щиплет горло и нос. Правительственные службы и иностранные консульства жгут архивы.

А потом – она не знает точно когда – Париж затих. Она слышит тишину в те минуты, когда не слышит собственного крика. Отсутствие звука оглушает. Город просто не может быть настолько тих. Ни автомобилей, ни клаксонов, ни человеческих голосов. Она лежит и думает, что спит. Единственное возможное объяснение тишины. А потом она слышит птиц. Нет, она не спит. Она умерла. Иначе почему над ней склонилась сестра-монахиня – серое морщинистое лицо в обрамлении тугого апостольника – и говорит ей, что все кончено. Так, значит, и она, и Лоран – оба они ошибались. Посмертная жизнь существует, и в ней очень тихо, пахнет антисептиком, а населяют ее монахини, которые почему-то очень суетятся, но, кажется, не злые.

И только потом, когда ей кладут на руки Виви, она понимает, что не мертва и что город молчит, потому что пуст, и что теперь у нее есть дочь. И тут ее накрывает ужас. Раньше ей приходилось беспокоиться только о себе. А теперь она смотрит на сверток, у которого маленькое, пурпурного цвета личико, и осознает, что это такое – ответственность. Внезапно она поняла причину постоянных опасений своей матери. Детство ее, Шарлотт, пришлось на гораздо более безопасные времена, но такой вещи, как безопасность, не существует. Ужас становится сильнее, когда снова начинают выходить газеты и она читает объявления. Матери разыскивают младенцев, исчезнувших во время всеобщего безумного бегства. Люди разыскивают хоть кого-то, кто мог бы забрать у них найденных малышей, единственный ответ которых на все вопросы – жалкий, умоляющий вопль: «*Maman*».

Она остается в больнице – сколько времени? Неделю? Десять дней? Достаточно долго, чтобы город снова зашевелился, но звуки все какие-то новые, неузнаваемые. Один, грохочущий, – точно лавина или ураган, будто человечеству мстит взбунтовавшаяся природа. Она спрашивает молодую монахиню – ту, чье бледное худое лицо словно плавает внутри апостольника, – что именно она слышит.

– Сапоги, – отвечает монахиня. – Они каждый день проводят парады на Елисейских Полях. И оркестр военный пускают.

И тут Шарлотт и в самом деле начинает различать за ревом этой противоестественной какофонии обрывки музыки.

– Их слышно повсюду. На тот случай, если мы забыли, что они здесь, – добавляет монахиня.

Но грохот несется не только с парадов. Сапоги слышны по всему городу: они топчут тротуары, царапают булыжники, вышибают двери, грохочут внутри домов, даже здесь, в больнице. Они осматривают каждое отделение, каждую палату. Когда они приходят туда, где разместились матери с новорожденными, они ведут себя вежливо, даже добродушно. Один останавливается возле ее кровати. Спрашивает документы. Она передает их. Он бросает на бумаги беглый взгляд, возвращает. А потом, когда она уже готова выдохнуть от облегчения, он наклоняется к ним и гладит Виви по головке своей огромной ладонью. Какая удача, что она в тот момент замирает от страха. Иначе ударила бы его по руке, смахнув ее, точно муху.

Постепенно люди начинают возвращаться. Вернулась Симон со своей Софи. И многие другие ее друзья. Но некоторые не вернулись – или не смогли вернуться. Жозефин, которая уехала в Португалию навестить мужчину, в которого была влюблена, еще до того, как граница была закрыта, сейчас в безопасности; Бетт преподает в Гренобле; родители Лорана по-прежнему в Авиньоне; ее собственный отец продолжает переезжать с места на место. Пока это все новости, которые ей удалось о них получить. Почты из неоккупированной зоны нет почти никакой.

– Откуда ты знаешь, что он был вне себя от радости, – упорно продолжала Виви, – если он уже ушел на войну?

Поймана на лжи.

– Из писем, конечно. Это он дал тебе имя. – И это было правдой. – Я хотела назвать тебя Габриэль, но он написал мне, что ты обязательно должна быть Вивьен. – «Если это будет девочка», не стала добавлять она. – Ты должна была стать Жизнью.

Виви сидела, держа вилку у рта, и во все глаза смотрела на мать.

– То есть ты хочешь сказать, он знал, что погибнет?

– Он же был в армии. Знал, что такая вероятность существует. Поэтому ты была так важна для него. Для нас обоих.

Виви молчала, и Шарлотт не стала рассказывать ей окончание этой истории. Конечно, Лоран был бы рад, и счастлив, и горд, но у него просто не было возможности все это испытать. К тому времени, как родилась Виви, он был уже мертв, хотя она сама узнала о его гибели гораздо

позже. Армии, которая, как и вся страна, была в полном беспорядке, моральном и физическом, понадобилось почти два месяца, чтобы ее уведомить. Это были совсем не те вещи, о которых ей хотелось рассказывать Виви. Дыра, оставленная смертью Лорана, и так была достаточно широка. И удастся ли ее вообще закрыть, скажи она Виви, что отец и вовсе не знал о ее существовании.

– Ты не против, если я задам вопрос – почему ты об этом спрашиваешь?

Виви пожала плечами:

– Просто в голову пришло.

Шарлотт не поверила в это ни на секунду. Отпив глоток вина, она ждала.

– Сегодня в классе каждый должен был рассказать, чем занимается его отец, – сказала наконец Виви.

Шарлотт захотелось их убить. Какая бесчувственность. И глупость.

– У Барбары Синклер папа кто-то там в ООН. А у Китти Фостер – врач, изобрел какую-то операцию, забыла уже какую. А отец Камиллы Брауер – владелец журнала.

– Твой дедушка был владельцем издательства.

– О дедушках они не спрашивали.

– А должны были.

– Да все в порядке, мам. Не я одна не могла ничего ответить. – Забота, прозвучавшая в голосе Виви, была точно гвоздь, забитый в сердце Шарлотт. Это она должна была заботиться о дочери, а не наоборот. – У Прю Мак-Кейб отец тоже на войне погиб. Вот только...

– Вот только – что?

– У нее на комодке стоит его карточка, где он в форме.

– У тебя тоже была бы его фотография, если бы квартиры обоих твоих дедушек не были экспроприированы немцами, а нашу не разграбили французы, после того как нас забрали. Мы не вернулись туда после лагеря. Не было смысла. И не то чтобы нас там ждали хорошие воспоминания.

– Знаю. Я не хотела сказать, будто это ты виновата, что у меня нет его фотографии. А как он выглядел?

Шарлотт налила себе еще вина. Уж конечно, она сможет вспомнить, как выглядел человек, в которого она была влюблена, вот только как бы она ни старалась, его лицо ускользало. Всплывали лишь какие-то кусочки. Загорелое горло под воротом рубашки: она смотрит на него снизу, положив голову ему на колени, на пляже, куда они поехали через два дня после свадьбы. Глаза, сощуренные от сигаретного дыма: он закуривает. Как он держал голову, чтобы казаться выше. Он всегда болезненно относился к собственному росту. Длинные, беспрестанно двигающиеся пальцы, затягивающие хирургические узлы на нитке, когда она была под рукой, и в воображении, когда нитки не было: докторские штучки. Ах нет, то были не его руки.

– Он был темноволосый. Смуглая кожа. Темные глаза.

– Я на него похожа?

– У тебя его глаза. И не только цвет, но и разрез глаз, – ответила Шарлотт, хотя этого она тоже не помнила.

Ей стало стыдно. Это было сродни добровольной амнезии.

– И его длинные ресницы, и брови. У него были брови удивительно красивой формы. Я еще шутила, как это несправедливо, что такие брови и ресницы достались мужчине.

– Как бы мне хотелось иметь его фотографию.

Шарлотт сидела и смотрела на дочь.

– И мне, сердце мое, и мне тоже.

Ей и в самом деле очень этого хотелось. Она даже думала попробовать эту фотографию раздобыть. Так ли это сложно? Несколько писем, пара отвлекающих вопросов. Не у всех квартиры оказались отобраны или разграблены. Наверняка у какого-нибудь приятеля или родствен-

ника осталась фотография Лорана. Всего-то и нужно было, что написать. Иногда ей казалось, что это самое малое, что она может сделать для Виви. А иногда – что самое глупое.

* * *

Было уже больше десяти, когда Шарлотт подняла голову от рукописи, которую читала, положив на колени, в кровати, и увидела, что Виви стоит в дверях ее спальни; ее розовая пижама, казалось, светилась на фоне темного дверного проема.

– Я думала, ты спишь.

Виви сделала несколько шагов в комнату и села к ней на кровать. Шарлотт подвинулась, чтобы освободить ей место. Она спала на узкой кровати. В комнате было довольно тесно, да и в просторном ложе не было нужды.

– Помнишь, что ты говорила раньше? Насчет правильных поступков? – спросила Виви.

Шарлотт ждала продолжения.

– И как иногда сложно бывает понять, что правильно, а что – нет?

– У меня такое чувство, что мы сейчас говорим уже не о гипотетической ситуации.

Похоже, мы говорим о тебе.

Виви кивнула.

– Ты хочешь мне об этом рассказать?

– Это будет ябедничеством.

– Я никому не скажу.

– Что, если бы тебе пришлось выбирать между соблюдением правил и тем, что сделала твоя лучшая подруга?

Шарлотт решила, что сейчас не время цитировать высказывание Э. М. Форстера, что «если бы пришлось выбирать – предать мою страну или предать друга, надеюсь, я нашел бы в себе мужество предать страну»¹⁴.

– Ты это про Элис?

Виви кивнула.

– Какое же правило она нарушила?

– Школьный кодекс чести.

– Элис списывала?

– На контрольной по латыни.

– Ты уверена?

– У нее на манжете блузки, с внутренней стороны, были записаны спряжения глаголов.

Она показала их мне перед контрольной.

– И что ты ей на это сказала?

– Я не могла ничего сказать. Учительница как раз раздавала вопросы.

– А после урока ты ей что-нибудь сказала?

Виви помотала головой.

– Не могу я на нее наябедничать. Она – моя лучшая подруга. Но когда ты говорила сегодня о папе, – это слово она почти никогда не использовала и сейчас произнесла его осторожно, будто не верила в свое право на него, – и о морали, я начала думать, что, может быть, надо что-то сделать. Просто я не знаю, что именно.

Шарлотт отложила рукопись и накрыла руку дочери своей. Рука Виви была прохладной и немного влажной от ночного крема, которым ее дочь недавно начала пользоваться.

– Ну да, это моральная дилемма.

– Так это звучит еще хуже.

¹⁴ Цитата из эссе «Во что я верю» (1938) английского писателя Эдварда Моргана Форстера.

- Ладно, давай посмотрим на варианты. Ты можешь рассказать об этом учителям.
- Тогда она никогда больше не станет со мной разговаривать. Никто в классе не станет.
- Или ты можешь никому ничего не говорить и просто забыть об этом.
- Но что, если она опять это сделает? То есть если в этот раз ей ничего за это не будет, то она решит, что так можно, и в следующий раз сделает то же самое.
- По-моему, ты только что нашла решение проблемы.
- Правда?
- Ты можешь сказать, что никому ничего говорить не будешь, но что так нельзя и если она сделает это в следующий раз, то тебе придется об этом доложить.
- Виви на минуту задумалась.
- Не знаю. Похоже на то, будто я пытаюсь легко отделаться. И школьный кодекс не соблюдаю, и, выходит, я не такая уж хорошая подруга.
- Мне кажется, ты очень хорошая подруга. Подумай, ведь ты стараешься спасти ее от преступного будущего. А «легко отделаться» – это, на самом деле, компромисс. Из которых, к сожалению, состоит наша жизнь. А может, и к счастью. Мир не черно-белый. Там, снаружи, сплошь серые тени.
- Ну да, вероятно, – ответила Виви, но без особой убежденности. Потом встала и пошла к двери. Но тут же остановилась и повернулась к матери. – Техниколор.
- Что?
- Если мир не черно-белый, тогда, может, пускай он будет в техниколоре?
- Шарлотт широко улыбнулась.
- Я люблю тебя, Вивьен Габриэль Форэ. Люблю ужасно.

Три

– Мам, ну пожалуйста! – Виви отвернулась от своего отражения – от своих многочисленных отражений, бесконечно повторяющих друг друга в большом трехстворчатом зеркале примерочной, и умоляюще посмотрела на мать. – Я больше никогда не буду тебя ни о чем просить. Обещаю.

– Как насчет расписки?

– Могу хоть кровью!

– Давай не будем терять голову.

– Ой, да ладно, давай потеряем голову! – Виви закружилась по маленькой примерочной – винного цвета юбка плескалась вокруг ее длинных ног, – но скоро остановилась, задыхаясь от смеха, у стены. – Ну пожалуйста-препожалуйста с кисточкой.

Шарлотт протянула руку, подняла ценник, свисавший с рукава платья, и еще раз поглядела на цену, будто цифры могли поменяться с тех пор, как она смотрела на них в последний раз. Сорок девять девяносто пять – непомерная цена для платья, предназначенного для девочки Вивиного возраста. Уже какое-то время у нее в голове шла дискуссия. Где именно ее стремление возместить Виви все лишения и тревоги, пережитые дочерью в раннем детстве, перерастает в безудержное баловство? Конечно, платье приобреталось по совершенно особому случаю, но и на этот счет у Шарлотт имелись сомнения.

Бабушка одной из девочек из Вивиного класса сделалась вдруг одержима идеей собственной смертности. Эта дама, обитавшая в огромной груди известняка по Семьдесят девятой улице, решила, что не успеет дожить не только до внучкиной свадьбы, но и даже до бала в день ее совершеннолетия. К тому же этот бал, возможно, придется давать не в фамильном особняке, который, учитывая налоги на собственность и наследство, а также стоимость обслуживания, будет к тому времени продан каким-нибудь иностранцам, дабы служить в качестве консульства или посольства, а то и превращен в музей. Учитывая эти мрачные перспективы, она решила, что чем ждать, лучше устроить внучке бал прямо сейчас, пока она (бабушка) еще жива и достаточно бодра, а гигантский бальный зал все еще находится в семейной собственности. Шарлотт балы для четырнадцатилетних девочек казались сомнительным мероприятием. Но она не была достаточно глупа или жестока, чтобы не дать Виви пойти на бал, куда собрался идти весь класс.

Виви заметила, как ее мать изучает ценник.

– Если это слишком дорого, то тетя Ханна наверняка сможет подарить мне его на Рождество. Она как раз спрашивала, чего мне хочется.

Шарлотт выпустила ценник из рук.

– Это вовсе не слишком дорого. И мы не побирушки. Ты права, давай-ка потеряем голову.

Улыбка, просиявшая, словно солнце, на лице у Виви, бесконечно умножилась рядами зазеркальных девочек. Потом, когда Шарлотт будет возвращать платье, она вспомнит эту стайку счастливых Виви, бесконечно множась в зеркалах.

* * *

Шарлотт ни за что не позволила бы чувствам одержать верх, не будь она до сих пор в некотором смятении из-за той абсурдной встречи с пациенткой Ханны в холле, у зеркала в золоченой раме. Этот случай давно уже следовало забыть, но воспоминание наступало ее в самые неожиданные моменты, словно какой-то вульгарный любитель розыгрышей с самыми

мерзкими фокусами, припрятанными в рукаве. Другого объяснения тому, что произошло в тот день в музее, она придумать не могла.

Раньше, когда Виви была маленькой и они еще не так давно жили в Нью-Йорке, они проводили целые выходные, бродя рука об руку по зоопарку или по Американскому музею естественной истории, пораженно разглядывая неизмеримо дорогие и роскошные игрушки у «ФАО Шварца»¹⁵ и заканчивая свой путь у Румпельмейера¹⁶, где Виви чинно восседала за столиком с шоколадными усами на маленьком личике, а рядом сидел купленный тут же плюшевый мишка. Но с тех пор Виви успела перерасти эти немудреные развлечения, как и необходимость проводить выходные в компании матери – если, конечно, они не отправлялись вместе покупать платье или по какому другому, не менее значительному поводу. Теперь ее тянуло как магнитом в компанию ровесниц. Это было нормально. Но чувство вины, которое испытывала по этому поводу Виви, – нет.

«Что ты собираешься сегодня делать? – спрашивала она Шарлотт, натягивая пальто. Иногда она формулировала вопрос более жестко: – Хочешь, я останусь и мы поделаем что-нибудь вместе?»

Даже когда Шарлотт тщательнейшим образом расписывала ей свои планы: обед с коллегой из другого издательства, визит к Фрику¹⁷ – повидать старых друзей, Рембрандтов и Тернеров, – выходя из дома, Виви всегда колебалась и несколько раз оглядывалась на мать. Как-то раз она даже спросила Шарлотт, все ли с ней будет в порядке. После этого Шарлотт старалась выйти из квартиры одновременно с дочерью. Видеть, как мать удаляется от нее по улице, было для Виви легче.

В тот день они вместе дошли по Парк-авеню до здания на углу Восемьдесят восьмой улицы, где жила семья Элис. Компромиссное решение для того случая со списыванием сработало: Элис была спасена от преступного будущего, и они с Виви остались лучшими подругами. Стоя перед домом под темно-зеленой маркизой, Шарлотт торопливо поцеловала дочь, пожелала ей хорошо провести время и сходить в кино и повернулась было, чтобы уйти. Но потом обернулась.

– Кстати, забыла спросить – на какой фильм вы идете?

– «Последний раз, когда я видел Париж».

– Хорошо вам провести время, – снова сказала Шарлотт и в этот раз уже останавливаться не стала.

Она велела себе не глупить, это же просто смешно. Всего-навсего название кинокартины, и даже не настоящее. Рассказ Ф. Скотта Фицджеральда, по которому был снят фильм, назывался «Возвращение в Вавилон». И все равно слова Виви преследовали ее всю дорогу – по Парк-авеню, и потом по Пятой, и даже в МоМА¹⁸, пока наконец она не сдалась – картины расплывались перед глазами – и не опустилась на скамью в одном из залов. Картины, скульптуры, музейная публика – все вокруг исчезло, как тогда, в холле, и она снова была там.

* * *

Брякает колокольчик над дверью, и она оборачивается, но не видит ровно ничего. В это время года маркиза над окном совершенно бесполезна. Стоит июнь, самый конец месяца, и

¹⁵ Популярный магазин игрушек в Нью-Йорке, чуть ли не самый старый в США (основан в 1862 году).

¹⁶ Знаменитая сеть кондитерских. Нью-йоркская франшиза была открыта при отеле «Сент-Морис» рядом с Центральным парком в 1930-м, а в 1990-х закрылась вместе с отелем.

¹⁷ Коллекция Фрика – музей, частное собрание живописи, принадлежавшее американскому промышленнику Генри Кляю Фрику (1849–1919).

¹⁸ Музей современного искусства в Нью-Йорке.

солнце наотрез отказывается заходить. Косые лучи пронизывают лавку, ослепляя ее, а его превращая в непроницаемый силуэт. Ей не видно ни его лица, ни как он одет. Он – всего лишь черное пятно, врезанное в ослепительное вечернее сияние. Но двое студентиков, которые рылись до этого в книгах, должно быть, сумели разобрать что-то против солнца, потому что они немедленно направляются к двери, аккуратно огибают его с двух сторон и выскальзывают из лавки, растворяясь в золотых лучах закатного солнца.

*Bon soir*¹⁹. Слова уже готовы сорваться у нее с языка, но тут он делает еще шаг, и она узнаёт форму. Вот уже год они маршируют по городу, расхаживают по бульварам, и люди разбегаются с их пути; они вламываются в рестораны, кинотеатры и лавки, скупают все подряд. Выгнать его она не может. Но и говорить с ним не обязана. Она проглатывает приветствие и возвращается к книге, которую читала, хотя прекрасно знает, что сосредоточиться ей теперь не удастся – пока он тут, в лавке. Виви, которая спит в каморке позади магазина, беспокойно хнычет во сне.

Он спрашивает на превосходном, пускай и с акцентом, французском, не возражает ли она, если он поглядит книги. Не поднимая головы, уставясь в строки, которые не в силах различить, она кивает. Он бродит по ее лавке, берет с полок и со столов книги, перелистывает, кладет обратно. Она следит за ним краешком глаза. Он возвращает книги на место. Из вежливых, значит.

Он продолжает разглядывать книги. Она продолжает притворяться, что читает. Ее молчание, совершенно очевидно, его не беспокоит. А почему бы и нет? Он же завоеватель, оккупант, и бояться ему нечего. Но она ощущает тишину как физическое присутствие, почти такое же оглушительное, как недовольные звуки из задней комнаты, которые становятся все громче. Она встает и идет туда, к Виви. Смысла приглядывать за ним нет никакого. Победители не крадут, они экспроприируют. Квартиры, фабрики, салоны от-кутюр, издательства. Нет, им нет нужды экспроприировать издательства. Большинство издателей охотно идут им навстречу. А как еще можно добыть бумагу, без которой никак нельзя, или даже получать прибыли? А прибыли они получают, и еще какие. В первые месяцы оккупации издательское дело замерло, но потом вновь бурно возродилось к жизни, пускай пресной и бесхребетной. Анри Филиппакки из «Ашетт» сам составил список книг, которые следовало бы запретить, и многие его коллеги внесли туда свои дополнения. Бернар Грассе из «Эдисьон Грассе» разослал другим издателям письмо, в котором советовал им прибегнуть к самоцензуре, чтобы не затруднять немецкое бюро пропаганды. И нашлось немало тех, кто последовал этому отвратительному совету, хотя некоторые и принялись вести опасную двойную игру. Гастон Галлимар обедает с чиновниками из бюро пропаганды – снова нехватка бумаги, – закрывая при этом глаза на деятельность коммунистов, которые печатают свою собственную подпольную пропаганду в его типографиях. Как хорошо, что отец успел сбежать. Он бы не сумел поддерживать двойную игру. Для него все кончилось бы расстрельной командой или на гильотине, которую немцы возродили к жизни для публичных экзекуций перед тюрьмой Санте на Монпарнасе, потому что ее отец никогда бы не продал дьяволу свое обожаемое «Эдисьон Омон», которое было собственной его душой. Вместо этого он просто закрыл издательство. Именно поэтому Шарлотт, после университета работавшая в издательстве отца, теперь заведовала книжным магазином на рю Туйе, а еще потому, что старый друг ее отца, владелец «Либрери ля Брюйер», был призван в армию, попал к немцам в плен и теперь оказался в трудовом лагере. Ребенком она проводила здесь блаженные часы, свернувшись калачиком с книжкой в одной из угловых арочных ниш, зная, что в ее распоряжении все книги, какие она только может пожелать, а ее отец с месье де ля Брюйером обсуждали в это время книги, которые отец издавал, месье де ля Брюйер продавал, а люди вокруг покупали. Магазин, как и весь Париж, потерял былой блеск с тех пор, как в город

¹⁹ Добрый вечер (фр.).

вошли немцы. Красивый паркет «в елочку» потускнел. Полироль для пола в оккупированном Париже не достать. По крайней мере, никому, кроме оккупантов и коллаборационистов. Старые индийские ковры залоснились. Но резные панели красного дерева в стиле ар-деко до сих пор обрамляют полки, и книги до сих пор в ее распоряжении – если не все, какие она только может пожелать – благодаря нацистской цензуре, – то уж точно больше, чем она могла бы прочесть за всю свою оставшуюся жизнь. В общем, этот офицер, который разглядывает книги, может взять себе все, что он захочет, и он это знает.

Она заглядывает в заднюю комнату, подхватывает Виви из ящика, который она выстлала пледом, и начинает укачивать дочку на плече, надеясь заставить ее забыть о голодных болях. Симон нет вот уже больше часа, но поход за едой часто занимает куда больше времени. Они с Симон подменяют друг друга: одна стоит за теми скудными крохами, которые можно попытаться раздобыть в этот день, а вторая приглядывает за лавкой. У дочери Симон есть карточка J1, которая дает детям от трех до шести лет право на дополнительный паек. А у Шарлотт имеется карточка, которую выдают кормящим матерям – или тем, кто утверждает, что до сих пор кормит, – и даже самые дотошные немцы не берутся проверять, кончилось ли у женщины молоко или еще нет. С этой карточкой можно пройти без очереди, и она гораздо ценнее, чем та, что у Симон. Право на дополнительный паек немногого стоит, если пайков не осталось. Неделю назад за тремястами пайками крольчатины стояло две тысячи человек – так рассказывали те, кто уже не надеялся, что им хватит. Эти «хвосты» – просто рассадники сплетен. С трудом верится тому, что болтают люди, но и не верить невозможно.

Она возвращается в лавку, продолжая укачивать плачущую Виви на плече. Он стоит с книгой в руке у прилавка красного дерева, рядом с кассой. Проходя за прилавком, она опускает голову, отказываясь поднимать на него взгляд. В ее поле зрения попадает его свободная рука – та, в которой нет книги. Пальцы у него длинные, тонкие. Она с отстраненным интересом задумывается, не играет ли он на фортепьяно. В конце концов, Германия не всегда была такой. Это была страна Баха, Бетховена и Вагнера – люди говорили это друг другу, пытались утешиться, когда немецкие войска впервые вошли в город. Но, как оказалось, Вагнер, проигрываемый на полную мощность, прекрасно заглушает вопли тех, кого пытаются, так утверждают слухи. Париж в эти дни работает на слухах, как до войны работал на бензине – когда еще были автомобили. Рука, кажется, тянется к Виви, чтобы ее успокоить. Шарлотт усилием воли заставляет себя не отступить, но застывает от напряжения. Руку убирают. Может, он не такой уж бесчувственный. Может, интуиция ему подсказала, насколько отвратительна ей мысль о том, что он хоть одним своим арийским пальцем притронется к ее ребенку – пускай даже это длинный, изящный арийский палец. Теперь он протягивает ей деньги. Все так же не глядя на него, она берет франки, кладет купюры в кассу, начинает отсчитывать сдачу и только тут замечает над ценником название книги и имя автора. Раньше ей просто было слишком страшно. Это книга Стефана Цвейга, где есть раздел, посвященный Фрейду. Книга, которая находится в так называемом списке Отго – списке запрещенной литературы. Труды, написанные евреями или о евреях, запрещены, а эта относится одновременно и к первым, и ко вторым. Они обязаны были сдать эту книгу, и ее отослали бы на склад, где объявленные вне закона издания или уничтожались, или попросту гнили. Вместо этого Симон собрала все экземпляры, которые у них еще оставались, и спрятала в каморке за магазином. Многие книготорговцы продавали запрещенную литературу из-под прилавка, отчасти назло немцам, отчасти прибыли ради. Вот только эта лежала не под прилавком. Симон либо случайно пропустила книгу, либо оставила на полке нарочно – еще один из ее бессмысленных и опасных жестов. Шарлотт любит Симон – как сестру, так они всегда говорят, – но иногда она готова ее убить. Что тоже, насколько ей известно, вполне по-сестрински.

Ее рука со сдачей нерешительно висит в воздухе возле его руки. Ей что же, просто отдать ему сдачу – и он выйдет из магазина с этой книгой? Людей арестовывают и за меньшее. Или

сказать ему, что это ошибка, что все остальные экземпляры они уже сдали и, должно быть, так торопились выполнить приказ, что случайно оставили один на полке? Она не может продать ему эту книгу – ему или кому-либо другому. Она настаивает на своем. Это противозаконно. От этого объяснения ее тошнит, но она знает, что скажет все это, чтобы спасти свою шкуру – свою и Виви.

Она поднимает взгляд и, как бы ни был силен ее страх, еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. Перед нею материализовалась шутка по поводу Гитлера о том, какой тот типичный ариец: блондин с синими глазами и волевым подбородком – вот он стоит сейчас перед нею во плоти. У этого офицера вермахта темные волосы, черные, глубоко посаженные глаза за стеклами очков без оправы и длинное аскетичное лицо, как у какого-нибудь святого. Пока Шарлотт глядит на него во все глаза, потеряв дар речи, он берет из ее руки сдачу, слегка кланяется и направляется к двери с запрещенной книгой в руке. Глядя ему вслед, она замечает, как он сует книгу за отворот мундира, прежде чем выйти из лавки. Итак, он знает, что книга запрещена.

Несколько секунд спустя возвращаются те два студента, которые сбежали, увидев его, а потом колокольчик снова звякает и в дверях появляется месье Грассэн, еще один отцовский друг. Грассэн, этнограф при Пале де Шайо²⁰, регулярно навещает книжную лавку. Отец взял с него обещание приглядывать за дочерью, насколько это в его силах. К сожалению, эта задача ему явно не по плечу: месье Грассэн – участник Сопротивления, так думает Шарлотт, поскольку он никогда не спит в одном и том же месте три ночи подряд. Найти его нелегко, но если Шарлотт понадобится его помощь, то они условились, что ей достаточно будет выставить в витрину его книгу «Культура видения и письма» в качестве знака. «Только будьте осторожны – к вам начнут ломиться покупатели, – пошутил он в тот раз. – Вы же знаете, как популярна эта тема».

– Ждал, пока бош уйдет, – говорит он сейчас, а потом осведомляется о ее здоровье и о Виви. Надолго он не задерживается, но Шарлотт знает, что, несмотря на бездействующую почтовую систему, он сможет передать отцу весточку: они с Виви если и не в безопасности, то, по крайней мере, еще живы.

* * *

Из-за истории с книгой Цвейга и ее разделом про Фрейда она теряет сон. И Симон тоже. Но к магазину не подъезжают никакие военные автомобили, никакие немцы не врываются к ним, грохоча сапогами, и даже жандармов не видно. Тот офицер, однако, приходит вновь. Она снова одна в магазине. Он снова спрашивает, не возражает ли она, если он поглядит книги. Она снова отвечает ему молчанием. Ну почему он не ходит к лоткам на набережной Сены? Там всегда полно немцев, которые расхаживают по набережной, пытаясь – безуспешно – подражать небрежной походке парижан, надеясь замаскировать свое варварство с помощью краденной культуры и стиля. Почему он не отправится по своим надобностям на Рив-Гош, где находится огромный блестящий книжный, принадлежащий коллаборационисту, которого всячески поддерживают оккупационные власти, где полки ломаются от немецкой пропаганды и разрешенной французской дребедени? Но ему, кажется, понравилось у них в лавке. Он приходит опять на следующей неделе, и на следующей после нее тоже. Иногда за кассой сидит она, иногда – Симон, иногда – они обе. Книги и деньги переходят из рук в руки, но словами они практически не обмениваются. Бывает, он интересуется той или иной книгой. Однажды он спрашивает «Моби Дика». Шарлотт застывает от напряжения. Мелвилл – в списке Отто. Он что, пытается загнать ее в ловушку? Она объясняет ему, что эту книгу держать в магазине запрещено. В дру-

²⁰ Здание, выстроенное в 1937 году на месте дворца Трокадеро, где размещались – и размещаются до сих пор – несколько парижских музеев.

гой раз он спрашивает том рассказов Томаса Манна, который тоже под запретом. Когда она сообщает ему, что эту книгу тоже продавать нельзя, он приобретает томик Пруста, который по каким-то неясным причинам – учитывая отношение Пруста к своим предкам-евреям – не запрещен. Неделю спустя приобретает экземпляр «Бытия и времени» Хайдеггера. Может, он вовсе и не шпик, а просто человек с эклектичными интересами.

– У этого боша отличный вкус, – говорит Симон после очередного его визита. – Вот за что я его – да и всех их – ненавижу. За литературные претензии.

Шарлотт знает, о ком она говорит, – о некоем высокопоставленном чиновнике, который пригрозил закрыть *Shakespeare & Company*²¹ и конфисковать весь товар после того, как Сильвия Бич отказалась продавать ему последний экземпляр «Поминок по Финнегану». Вернее, она утверждала, что экземпляр был последним. Стоило чиновнику выйти из магазина, как Сильвия бросила ключ всем друзьям и знакомым. За какие-то два часа они полностью опустошили магазин, не оставив ни одной книги, даже полок и люстр. К тому времени, как чинуша явился в сопровождении солдат, чтобы осуществить свою угрозу, *Shakespeare & Company* исчез с лица земли, даже вывеска на номере двенадцать по рю де Лоден была закрашена. Книжный они так и не нашли, но Сильвию арестовали и отправили в лагерь. Через шесть месяцев ее отпустили, и вроде бы она скрывается где-то здесь, в Париже. Шарлотт готова поклясться, что видела ее как-то незадолго до комендантского часа – Сильвия стояла в тени на рю де Лоден и не отрываясь смотрела на дом номер двенадцать. Подходить к ней Шарлотт не стала.

После того случая Сильвия могла бы попробовать скрыться на юге, как поступили Гертруда Стайн²² и Алиса Токлас²³, хотя обе они, конечно, и не скрываются по-настоящему. Из того, что слышала Шарлотт, они спокойно продолжают жить в своем доме в Буже под протекцией старого приятеля Гертруды, Бернара Фэя, известного антисемита, которого назначили директором Национальной библиотеки после того, как был уволен прежний директор-еврей. Стайн, сама будучи еврейкой, была еще одним примером литературной фигуры, играющей за обе стороны. Перед войной она сказала одной американской газете, что Гитлер заслуживает Нобелевской премии мира, но ее восхищение фюрером не помешало цензорам занести ее книги в список Отто. Отец Шарлотт рассорился со Стайн из-за этих ее слов насчет Гитлера, равно как из-за ее поддержки Франко, хотя последнее, кажется, совершенно не беспокоит приятеля Стайн Пикассо, который ведет, должно быть, самую рискованную двойную игру из них всех. Он дает деньги Сопротивлению и даже, случалось, прятал у себя беженцев (по крайней мере, так говорят, наверняка же никто не знает, а большинство и не желает знать: чем меньше тебе известно, тем лучше), но принимает в своей студии немецких посетителей – хотя и велит при этом Франсуазе Жило²⁴ не выпускать их из виду, чтобы они не подсадили ему ненароком «жучка». Как бы то ни было, художникам живется под нацистским сапогом легче, чем писателям, чье творчество гораздо лучше подчиняется истолкованию.

Но тот немецкий офицер уже кажется не таким опасным. Он неизменно вежлив. Он старается не выделяться, насколько это возможно для человека в ненавистной серо-зеленой форме. И он в этом преуспевает. Другие посетители начинают к нему привыкать. При его появлении они больше не откладывают книги и не стараются потихоньку выбраться из магазина. Даже тот старый учитель, которого уволили из лицея Кондорсе²⁵ за то, что он еврей, и кото-

²¹ Культовый парижский книжный, открытый в 1919 году американкой Сильвией Бич, видной фигурой в литературных кругах своего времени, и закрывшийся в 1941 году из-за Оккупации. В 1951 году открыт заново другим владельцем.

²² Гертруда Стайн (1784–1946) – американская писательница, законодательница мод в литературе, автор термина «потерянное поколение».

²³ Алиса Бабетт Токлас (1877–1967) – американская писательница, подруга Гертруды Стайн.

²⁴ Франсуаза Жило (р. 1921) – художница, муза Пикассо, с которым у нее были долгие, бурные отношения, закончившиеся не лучшим образом. Автор воспоминаний «Моя жизнь с Пикассо».

²⁵ Лицей Кондорсе – один из четырех старейших лицеев Парижа.

рый часто приходит в лавку посидеть в уголке в потертом кожаном кресле и почитать книги, которые он уже не может себе позволить, – даже он больше не обращает на немца внимания. Но, опять же, профессор теперь все меньше и меньше замечает то, что происходит вокруг. Он живет в мире, сотканном из слов на странице.

Однажды, сидя за кассой, она украдкой бросает взгляд на офицера, который стоит с книгой в одной руке, а пальцами другой проделывает какое-то сложное упражнение – она уже заметила эту его привычку, – но смотрит он при этом не в книгу. Он внимательно разглядывает часы на дальней стене. Часы показывают французское время. Немцы выпустили декрет, согласно которому вся оккупированная Франция теперь должна перейти на время Германии. Шарлотт постоянно переводит часы на немецкое время, Симон переводит их на час назад. Чертова Симон и ее бессмысленная бравада. Им не нужно повода, чтобы хватать людей и экспроприировать их имущество, и все же – зачем давать им то, чем они могут прикрыться?

Офицер переводит взгляд на часы у себя на руке, а потом обратно. Она опускает глаза и ждет, когда он заговорит. Но в лавке стоит тишина, прерываемая только хриплым дыханием профессора, который явно нездоров, – да и как он может быть здоров, учитывая обстоятельства? Офицер переходит к другому стеллажу и берет с полки очередную книгу. Она почти жалеет, что он ничего не сказал по поводу часов. Этих вежливых, тех, что кажутся разумными людьми, тех, кто разрешает тебе измерять время по солнцу, а не по принуждению, ненавидеть труднее. Ей совсем не хочется начинать видеть человека в этом офицере, в любом офицере, в любом немце. Это слишком опасно.

В следующий раз, когда он появляется неделю или дней десять спустя – она отказывается следить за частотой его визитов, – Шарлотт в магазине одна. Симон стоит в очереди за их пайками, а других посетителей нет. Это необычно. Несмотря на нехватку бумаги, Оккупация стала для издателей и книготорговцев настоящим Клондайком. Между комендантским часом и дефицитом ночами делать особенно нечего, кроме как читать или заниматься любовью, а для последнего не так уж много возможностей. Слишком многие мужчины исчезли – попали в плен или в лагеря, сбежали в Англию или в Северную Африку или просто были убиты. Она сидит в уголке с Виви на коленях, в кресле с драной кожаной обивкой, и листает книжку с картинками.

– *Bonjour*²⁶, – произносит он.

Она не отвечает.

Он начинает рыться в книгах. Она, понизив голос до шепота, продолжает читать дочери стишки. Когда через некоторое время она поднимает глаза, то замечает, что он смотрит на них.

– Сколько ей? – спрашивает он на своем правильном, пускай и с акцентом, французском.

Шарлотт вовсе не собирается отвечать, но как она может удержаться от искушения поговорить о Виви?

– Восемнадцать месяцев.

Удивление, отразившееся на его лице, подтверждает ее худшие кошмары. Недоедание сказывается. Всю оставшуюся жизнь Виви будет калеккой.

На следующий день он возвращается и осуществляет свой коварный замысел – или это великодушный жест? Откуда ей знать? В руке у него апельсин.

– Для ребенка, – говорит он и кладет фрукт на прилавок.

Она стоит и молча смотрит на апельсин. Да и как можно смотреть куда-то еще? Она и не помнит, когда в последний раз видела апельсин. Кажется, плод светится изнутри.

– Витамин С, – добавляет он.

Она все так же смотрит на апельсин.

– Я врач, – сообщает он, будто медицинский диплом необходим, чтобы знать: растущему ребенку необходим витамин С.

²⁶ Добрый день (*фр.*).

И все же она продолжает молча смотреть на оранжевое чудо, не делая ни единого движения.

Он отворачивается, берет со стола книгу, мельком глядит на заглавие, возвращает томик на стол, говорит *au revoir*²⁷ и уходит. Он старается, чтобы ей было проще.

* * *

– Как тебе фильм? – спросила Шарлотт, когда Виви тем вечером вернулась домой.

– Грустный. Элизабет Тейлор умирает из-за того, что Ван Джонсон напился и выставил ее за дверь во время снежной бури. А потом сестра Элизабет – Донна Рид – не отдает ему опеку над дочерью. Говорит, это потому, что он плохой отец, но на самом деле она всегда была в него влюблена, а он выбрал Элизабет Тейлор. – Тут Виви на минуту задумалась. – Но девочка все-таки остается жить с отцом, так что, в общем, все кончается хорошо.

Шарлотт открыла было рот, чтобы сказать – в романе у Фицджеральда главный герой так и не добивается опеки, но потом передумала. Это было как с желтыми обоями. Ей хотелось как можно дольше сохранить для Виви эту иллюзию.

* * *

Пару вечеров спустя Шарлотт хлопотала у плиты – готовила грибное соте, когда Виви вернулась домой. Дочь встала в дверях кухни, прислонившись к косяку, все еще в своем верблюжьем пальто, прижимая к груди книги, будто это был ее щит.

– Платье можно вернуть.

– Что? – Шарлотт выключила конфорку и повернулась к дочери. Ей и в самом деле казалось, что слабое шипение газа помешало ей как следует расслышать дочь.

– Я сказала, что можно вернуть платье. Все равно оно было слишком дорогое.

– И вовсе не слишком. Правда.

– Мне оно больше не нужно. На бал я не иду.

– Конечно, ты идешь на бал.

– Меня не пригласили.

– Как это – не пригласили? Приглашение стоит у тебя на комод.

– Оно отозвано. Как выразилась Элинор.

Элинор Хэтэуэй была той самой одноклассницей Виви, чья бабушка осознала собственную смертность.

– Элинор говорит, она не виновата.

– Не виновата в чем?

– В том, что она не может меня пригласить. Она говорит, что бабушка ей не разрешает.

Каким бы нелепым это ни казалось Шарлотт потом, но в тот момент она все еще ничего не понимала. Она лихорадочно прочесывала память, пытаясь сообразить, чем могла обидеть старушку или мать Элинор. Матери Вивиных одноклассниц всегда были с ней вежливы, но Шарлотт не обманывалась насчет того, что она – одна из них или что она им хотя бы нравится. Они ее жалели – бедняжке Шарлотт Форэ приходится работать, – но по большей части они ее просто не одобряли. Она умудряется одеваться в два раза более стильно, чем они, говорили они друг другу, при том что тратит на одежду в четыре раза меньше. Это наблюдение – которое передала ей Виви – комплиментом не являлось, по крайней мере, не совсем. Были еще разговоры об ее акценте, который, казалось, становился то сильнее, то слабее. Тут она должна была

²⁷ До свидания (*фр.*).

признать некоторую их правоту. За те годы, что она прожила в Америке, Шарлотт обнаружила, что картавое «р» или растянутое «э» иногда приходится очень кстати. А однажды из кабинки в дамской комнате на каком-то родительском мероприятии ей пришлось подслушать разговор двух мам, причем одна говорила второй, что у Шарлотт Форэ имеется манера так зажигать сигарету, а потом выбрасывать спичку, что тебе сразу становится понятно: не суй свой чертов нос не в свое чертово дело. Как хорошо, что она не так уж много курила.

– Ее бабушка тебя даже не знает.

– Но она знает, что я еврейка. Я прекрасно помню, что ты всегда говоришь. Ты не была еврейкой, пока Гитлер не сделал тебя ею. Но люди видят это по-другому.

– Даже здесь?

Виви снова пожалала своими худенькими плечами. Этот жест был призван выразить равнодушие, но вместо этого вышел жалким и беззащитным.

– Надеюсь, этот бал обернется полным провалом. Надеюсь, у Элиноор прыщи накануне выскочат.

– А я надеюсь, что ее бабушка будет после смерти гнить в специальном кругу ада для узколобых ксенофобов, – сказала Шарлотт.

Так вот, значит, как они добираются до тебя в Америке. Никаких арестов, никаких лагерей. Только подспудная жестокость по отношению к твоим детям.

* * *

За ужином Виви снова вернулась к этой теме.

– А как насчет моего отца?

– Что насчет твоего отца?

– Нужен ли ему был Гитлер, чтобы стать евреем?

– Он не был религиозен – не больше, чем я.

Виви на это ничего не ответила, но выражение лица ее выдало. Она не верила. Она отчаянно нуждалась в опоре. Это было понятно. Шарлотт и сама хотела, чтобы у ее дочери было на что опереться. Но только не на это.

Четыре

Карл Ковингтон, самопровозглашенный великий старец от издательского мира, гордился своими знаменитыми вечеринками. В список гостей попадали только избранные. Никаких младших редакторов или рекламных ассистентов, которые напьются и примутся сооружать ужин из хот-догов и «тещиных языков». Место было безукоризненное. Они с женой занимали пентхаус на Сентрал-Парк-Уэст, с чудесным видом на сверкающий Резервуар и гостиной высотой в два этажа, стены которой были сплошь заставлены книгами. «Моя маленькая библиотека Моргана»²⁸ – так он любил говорить. Тосты Ковингтона в честь виновника торжества и его новой книги всегда были пространны и велеречивы. Вечеринки эти пользовались большим успехом. Некоторые, кажется, даже получали от них удовольствие.

На этот раз чествовали писателя, который каждый год производил по триллеру, стабильно дотягивавшему до нижних строк списка бестселлеров «Таймс». Шарлотт поздравила автора, засвидетельствовала свое почтение паре газетных критиков, поболтала с иностранным литературным агентом, обменялась впечатлениями с редактором из другого издательства, поблагодарила жену Карла за приятный вечер – и уже направлялась по коридору в прихожую, чтобы найти свое пальто, которое у нее забрал на входе специально нанятый человек. Когда она проходила мимо двери, ведущей в тускло освещенный кабинет, то заметила Хораса, который сидел под торшером, в круге света. Он, должно быть, почувствовал ее присутствие, когда она остановилась в дверях, потому что поднял голову от книги, которую читал.

– Что-нибудь интересное? – спросила она, входя в комнату.

– Лучше не становится. – Книгу он держал корешком от себя, «Ф. Скотт Фицджеральд. Избранное»: черные буквы на бордовом фоне. – И почему нам самим не пришло в голову переиздать «Гэтсби»? «Вайкинг» вовремя подсуетился. Присаживайся. Если, конечно, ты не горишь желанием поскорее вернуться обратно.

Он сделал жест в направлении гостиной.

– Горю примерно в той же степени, что и ты.

Шарлотт опустилась в кресло, стоявшее по другую сторону торшера. Он сощурился на нее сквозь яростное сияние лампочек и, потянувшись, выключил одну.

– Не для меня сиянье дня. – Хорас захлопнул книгу и кивнул на ее пустой бокал: – Как насчет обновить? Я бы предложил налить тебе сам, но тебе это будет проще.

Это ее удивило. Он никогда раньше не намекал на свое увечье. При ней точно никогда.

– Спасибо, с меня хватит. Вообще-то я собиралась уходить. – Она потянулась и поставила пустой бокал на стол, и в этот момент в кабинет заглянул Билл Куоррелз:

– Я не помешал?

– Помешал! – рявкнул Хорас.

Билл отдернул голову, как будто его ударили.

– Ну извиниите, – протянул он и удалился.

– Тебе надо бы приучиться держать в узде свое неотразимое обаяние, – заметила Шарлотт.

– А тебе надо бы быть с ним поосторожнее.

– Он совершенно безобиден.

– Как скажешь. – Он немного помолчал, внимательно глядя на нее. – Ну, как там дела на вашем этаже?

– Прекрасно. Была проблема с напором воды, но Игорь все наладил.

²⁸ Библиотека Моргана (совр. Библиотека и музей Моргана) – основу коллекции этой нью-йоркской библиотеки и музея составило собрание американского банкира и финансиста Джона Пирпонта Моргана (1837–1913).

– Моя супруга и ее подручный – великолепная команда, но вообще-то я спрашивал не об этом. Скорее, о состоянии морального духа. Как Виви?

– Прекрасно, – снова ответила она.

– Не совсем то, о чем я слышал вчера.

– В смысле?

– Когда я вернулся вечером, то заглянул на кухню за льдом. Виви сидела там вместе с Ханной. И, честно говоря, у твоей дочери был такой вид, будто это ей не помешало бы выпить.

– Прошу прощения. Если Виви будет путаться у вас под ногами, просто отошлите ее домой.

Он покачал головой:

– Да ладно тебе, Чарли, мы оба знаем, что Виви в нашем доме ни у кого под ногами не путается. Ханна поселила бы ее у нас, если бы ты позволила.

– Я знаю, и я вам благодарна.

Он поднял бровь. Сложность с Хорасом была в том, что он слишком пристально наблюдал за людьми.

– Ханна сказала, что были какие-то неприятности со школьной вечеринкой.

– С балом, не с вечеринкой. И это не в школе. – И она рассказала ему о бабушке, осознавшей, что она смертна, и об отозванном приглашении.

– Ты как будто удивлена.

– А что, я не должна быть удивлена? – изумленно спросила она.

– Имя Дрейфуса²⁹ ни о чем тебе не говорит? Я уж молчу о более недавних событиях, в которых, как я понимаю, ты принимала непосредственное участие.

– Но это же было во Франции. В Европе. В Старом Свете.

– Ах да, я забыл. Человеческая натура меняется, стоит ей пересечь океан.

– Мне даже в голову не приходило, что эта зараза могла распространиться и здесь. И я не думала, что они способны ополчиться на четырнадцатилетнюю девочку.

– В этом твоя проблема. Ты не думаешь.

– Спасибо.

– Прости. Я имел в виду отсутствие у тебя определенного чутья.

– Ты хочешь сказать, что я бесчувственна?

– Не в этом смысле.

– Тогда в каком?

– Большинство евреев, даже таких, как я...

– Ты еврей?

Он молча глядел на нее несколько секунд, а потом, запрокинув голову, расхохотался.

– Вот это-то я и имею в виду. У тебя нет чутья.

Шарлотт почувствовала, что краснеет.

– Я допускала, что Ханна еврейка. Из-за того, чем она занимается. Но я не думала, что и ты тоже. Ты не ведешь себя как еврей. И не похож тоже.

– А теперь ты говоришь совсем как мисс Хэвишем наших дней, престарелая антисемитка, которая сидит у себя в поместье в стиле бозар³⁰ и плюется ядом. Как, по-твоему, выглядит или говорит типичный еврей, а, Чарли?

Тут он ее поймал.

²⁹ Альфред Дрейфус (1859–1935) – офицер французской армии, еврей по происхождению. Фигурант знаменитого «дела Дрейфуса» 1894 года. Был несправедливо обвинен в шпионаже в пользу Германии.

³⁰ Бозар (от *фр. beaux-arts* – «изящные искусства») – архитектурный стиль историзма, возникший в противовес распространившемуся в середине XIX века увлечению национальным Средневековьем (неоготика, неовизантизм, русский стиль); продолжил традиции итальянского Ренессанса и французского барокко.

– Я только имела в виду, что ты никогда ничего на этот счет не говорил. И ты никогда не делаешь ничего, связанного с религией.

– То есть в отличие от тебя?

– Меня не растили еврейкой. И я себя таковой не называю.

– Да, ты предоставляешь это другим. Понимаешь, я пытаюсь сказать, что ты – единственная знакомая мне еврейка, которая совершенно об этом не думает. Впрочем, нет, погоди. Твой отец был таким же, но мы с ним всегда говорили исключительно о книгах. Ах, каким он был издателем! Но большинство евреев, включая тех издателей, которых я встречал за границей, одержимы этим предметом. Даже те, кто старается сойти за нееврея. Особенно те, кто старается сойти, – в чем, естественно, я не обвиняю ни тебя, ни твоего отца, – они постоянно думают об этом. Кто – еврей, а кто – нет. Кто нас ненавидит, а кто притворяется, будто это не так. Некоторые из нас пытаются это игнорировать, а другие носят на груди, точно рекламу. Есть и такие, кто постоянно лезет в драку. Это тактика выживания. И это присуще всем нам. По крайней мере, я так думал, пока не встретил тебя. Ты – единственная еврейка, которой в этом отношении медведь на ухо наступил.

– У тебя паранойя становится каким-то достоинством.

– Это не паранойя, когда угроза реальна. Я так понимаю, о квотах ты слыхала. Я столкнулся с ними в Гарварде. И они до сих пор существуют. Тебе знакомо выражение «ограничение доступа»? У меня есть фотография отеля в штате Мэн. Там на дверях имеется табличка: «Собакам и евреям вход воспрещен». И это было еще до войны. Теперь все немного деликатнее. Не веришь – попробуй снять квартиру в некоторых домах на Манхэттене или купить дом в определенных районах Коннектикута, не говоря уж о многих других штатах нашего славного государства. Был у меня один друг, которому это удалось, но ему пришлось пустить перед собой адвоката. И все же кое-что хорошее в этом есть. Эта старая антисемитская сучка помогает Виви подготовиться к реальности.

– Чего я, как ты тут намекаешь, не делаю?

Ответом ей был только холодный синий взгляд.

* * *

Утром, придя на работу, она не успела даже снять пальто, когда к ней за перегородку вкатился Хорас.

– Я здесь для того, чтобы извиниться. На что я, кстати, неспособен, по мнению Ханны.

Последнюю фразу он произнес так тихо, что она не была уверена, будто правильно его расслышала.

– За что? – Шарлотт повесила пальто на вешалку, стоящую в углу, и, обойдя Хораса, села за свой стол.

– За вчерашние нотации. Не знаю, что это на меня нашло – проповедовать тебе насчет того, что значит быть евреем. Это как если бы ты решила просветить меня, как нужно жить, если ты, извини за выражение, калека. И не надо так удивленно на меня смотреть, Чарли. Думаешь, я не замечаю, что я в инвалидной коляске?

– Я никогда раньше не слышала, чтобы ты об этом говорил.

– Я говорю об этом не больше, чем ты – о том, что случилось с тобой в Париже. Мы с тобой два сапога пара. Ходячие травмы. Или, в моем случае, травма на колесах. Это же обстоятельство делает нас с тобой величайшими загадками этого места. Объектами безграничного любопытства и разнообразных домыслов. «А это правда, что он был ранен, совершая подвиг?» – Он покачал головой. – Никакой это был не подвиг, а обычный бой, но подвиг – гораздо более интересная история, а мы тут все занимаемся продажей историй. «А правда, что ее пытали в гестапо? Или что она умудрилась сбежать вместе с младенцем из последнего поезда

на Освенцим?» – Тут он предупреждающе поднял руку: – Я ни о чем не спрашиваю. Просто пересказываю тебе слухи, которые ходят вокруг именно из-за того, что мы с тобой ничего не рассказываем. Я вовсе не предлагаю нам с тобой прилюдно разоблачаться. – Хорас ненадолго замолчал, и Шарлотт подумала, что, может, он сейчас размышляет о самых дерзких домыслах на свой счет. – Но, – продолжил он, – друг с другом нам можно и не миндальничать. Так что я прошу прощения за вчерашние дурацкие нотации.

– Я бы не назвала это нотацией.

– Как ни называй, я был не прав, и мне очень жаль.

Он развернул коляску и направился к выходу из кабинета. Уже почти выехав в коридор, остановился и, не поворачиваясь, глядя прямо перед собой туда, где стояли столы секретарей, сказал:

– И пока я тут щедро разбрасываюсь извинениями, можно заодно добавить кое-что насчет того замечания, что Ханна думает, будто я не способен на извинения. От этих слов разит нытьем на тему «моя-жена-меня-не-понимает». – Он взялся своими большими руками за колеса кресла и яростно их крутанул, чтобы выехать из ее кабинета. – Ханна понимает, – добавил Хорас уже на ходу.

По крайней мере, так ей послышалось.

* * *

Шарлотт, сидя за столом, размышляла о словах Хораса, которых он, может, вовсе и не произносил. С того самого момента, когда они встретили Ханну Филд среди шума и гвалта под железным сводом ангара, где располагалась таможня, тем первым их утром в Америке, Ханна ясно дала ей понять, что намерена взять их с Виви под крыло. Большинство новопривывших на месте Шарлотт были бы ей благодарны. И Шарлотт испытывала благодарность. Но оставалась настороже. Она по натуре была человеком замкнутым. Последние годы в Париже только усилили эту ее черту. А потом она получила предупреждение, хотя это случилось год или два спустя.

Рут Миллер работала редактором в другом издательстве, и вышло так, что Шарлотт с ней подружилась. С Ханной Рут дружила еще с колледжа.

– Ты с ней поосторожнее, – сказала как-то Рут, когда они с Шарлотт обедали вместе – не за корпоративный счет – у «Мэри Элизабет», в кондитерской, где подавали сэндвичи с обрезанной корочкой и загадочное мясо и рыбу, плавающую в не менее загадочном соусе. Это место подавляло – как настроение, так и вкусовые рецепторы, – но здесь было удобно, недорого и чуточку более пристойно, чем у Шрафта³¹.

– Она была с нами исключительно великодушна, – ровно ответила Шарлотт.

– Ханна – само великодушие. Помнишь ту девушку из «Саги о Форсайтах», которая все время подбирала «гадких утят»? Так вот, это – Ханна. Но стоит только «утенку» начать самостоятельно перебирать своими перепончатыми лапками, как он оказывается на улице.

– Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, – сказала Шарлотт, но у нее было такое чувство, будто она уже это знала.

– После войны я связалась не с тем человеком. Он пил, волочился за каждой юбкой и вечно нуждался в деньгах, которые я, конечно, ему давала. Что значат несколько долларов, когда речь идет о любви? Я не слишком хорошо разбираюсь в людях – по крайней мере, тогда не разбиралась. Ханна была само сочувствие. Она выслушивала все мои жалобы, старалась помочь мне найти в нем хоть что-то хорошее и ни разу не спросила, почему я не вышвырну это ничтожество вон. Но когда я все же его вышвырнула, когда я снова встала на свои пере-

³¹ «Шрафтс» – сеть закусных-кондитерских.

пончатые лапки и начала встречаться с Ником, она бежала от меня как от чумы. Думаю, Ник показался ей слишком хорош. Она перестала мне звонить, перестала отвечать на мои звонки. Я готова поклясться, что однажды, заметив меня, она перешла на другую сторону улицы. Самое забавное, что будь она мужчиной, я бы сразу ее раскусила. Но она женщина, как и я, и уж так мне сочувствовала. На то, чтобы понять – нашей дружбе конец, у меня ушло больше времени, чем на то, чтобы избавиться от того ничтожества.

Шарлотт сидела у себя за перегородкой, вспоминая этот разговор и раздумывая над словами Хораса. Даже в инвалидной коляске он не был достаточно несчастным утенком.

* * *

– Я тут думала. – Виви, которая лежала на животе на полу в гостиной, села и посмотрела на Шарлотт, сидевшую тут же, на диване. Они по очереди читали и передавали друг другу листы воскресного номера «Таймс», распухшего от рекламы перчаток, галстуков и прочих рождественских подарков. Бледное зимнее солнце лилось в комнату сквозь два выходявших на юг окна. Снаружи, в тишине воскресного утра, дремала улица, и только изредка спокойствие прерывалось шагами выгуливавшего собаку человека или шуршанием шин такси, разъезжавшего по улицам в поисках клиентов.

– Это полезное занятие. О чем-нибудь конкретном?

– О бале.

Шарлотт отложила газету.

– Тот факт, что тебя не пригласили, не имеет никакого отношения к тебе лично, – сказала она уже не в первый раз. – Только к этой узколобой старухе.

– Я знаю. Но это заставило меня задуматься еще кое о чем.

Шарлотт ждала.

– Если я еврейка, значит, я должна быть еврейкой.

– С этим трудно поспорить, – сказала Шарлотт после непродолжительного молчания.

Виви немного над этим поразмыслила.

– Жалко, что я почти ничего не помню о лагере.

– Я рада, что ты не помнишь.

– У меня даже картинки в голове не осталось.

– Ты была слишком маленькой. И потом, мы пробыли там совсем недолго, пока лагерь не освободили.

– Но как ты жила до этого? То есть они же специально искали евреев – как же они не вычислили нас раньше?

– У нас были поддельные документы. Иногда приходилось скрываться. Немцы были не так расторопны, как им казалось. А о французских жандармах и говорить нечего. Другими словами, нам повезло.

– Тетя Ханна говорит, именно так об этом рассказывают ее пациенты из тех, кто выжил. Еще они говорят, что никогда нельзя было знать, кому можно доверять. Старый друг мог на тебя наступать, а незнакомец – рискнуть ради тебя жизнью.

– Ну да, полагаю, это так, – ответила Шарлотт.

– Люди, которые нам помогли...

– Виви! Это все в прошлом. С этим покончено. – Шарлотт взяла в руки страницу из театрального раздела. – Знаю, ты считаешь, что «Питер Пэн» – это чересчур инфантильно...

– Я уже слишком стара, чтобы сидеть в зале и кричать вместе со всеми: «Я верю!» – чтобы не гас какой-то дурацкий свет на сцене.

– Согласна. Но, может, тебе хотелось бы сходить на каникулах на что-нибудь еще? Говорят, что «Фэнни» – это довольно забавно. Можно пойти на утренник в субботу – или даже вечером, если на каникулах. Да куда угодно можно пойти – в разумных пределах, конечно.

– В еврейскую церковь.

– Что?

– Я хочу пойти в еврейскую церковь. В синагогу, – поправилась она. – Я вот что хочу сказать... Если я еврейка, должна же я хоть что-то об этом знать. Можно мы сходим посмотреть, на что это похоже? Всего разок?

– Знаю я, на что это похоже.

– А я думала, что не знаешь. Я думала, понадобился Гитлер, чтобы сделать тебя еврейкой.

– Так об этом-то я и говорю. Религия – опасная штука.

– Так и я тоже об этом. Если люди будут относиться ко мне определенным образом, потому что я еврейка, мне нужно знать почему.

– У нетерпимости логика отсутствует. Так же, как она отсутствует в религиозных традициях и ритуалах. И это касается любой религии. Думаешь, будь ты католичкой, то дюжина прочитанных «Радуйся, Мария» очистила бы тебе душу?

– Вот ты всегда так делаешь.

– Делаю что?

– Я спрашиваю, каково это – быть еврейкой, а ты рассказываешь мне какую-нибудь историю о том, как ходила к исповеди со своей подругой Бетт или как все остальные девочки, с которыми ты играла, получили новые белые платица ко дню своего первого причастия.

– Я выросла в католической стране. Большинство моих друзей были католиками, кроме одной еврейской девочки. Я просто пытаюсь тебе сказать, что не доверяю ни одной из религий. И твой отец был согласен со мной. Мы оба были атеистами. Мне кажется, мы с ним о религии вообще никогда не разговаривали, кроме как о том, сколько вреда она принесла. И его бы не порадовало – не больше, чем меня, – то религиозное пробуждение, которое ты, кажется, сейчас переживаешь.

Она знала, что играет нечестно, но в этих обстоятельствах просто не видела иного выхода. И ее уловка сработала. Виви взяла в руки газету и принялась листать театральный раздел.

Пять

Шарлотт не могла понять, как это произошло. Уж конечно, письмо, которое она даже не прочла, не могло повлиять на ее жизнь, тем не менее все теперь шло не так, как надо. И все же что-то прорвало ту преграду, которую она возвела между прошлым и настоящим.

Когда она только приехала в Америку, то обнаружила, что жизнь здесь гораздо проще, чем то, к чему она себя готовила, но при этом идет вразрез со всяким здравым смыслом. Она просто не могла привыкнуть к тому, что люди спешат по тротуару уверенным, размашистым шагом или же беспечно фланируют, будто у них нет на свете забот, вместо того чтобы пробираться по стенке, опустив плечи, спрятав глаза, и переходить на другую сторону улицы, избегая встречи с человеком в форме, а то и прятаться в подворотне, а потом дергаться от страха, когда солдат подходит к ним, чтобы спросить дорогу, потому что он с тем же успехом может решить их арестовать, или просто поиздеваться, или еще чего похуже. Ее поражало отсутствие знаков, запрещающих ей пересекать вот эту улицу или заходить вот в тот район; поражало количество автомобилей, роящихся на авеню, ловко маневрирующих на перекрестках; поражали фонари, превращавшие ночь в день. Париж был таким темным – и так долго. Но труднее всего было привыкнуть к изобилию. Она уплывала из мира, до сих пор страдавшего под гнетом голода, измученного дефицитом, погрязшего в нищете. Она прибыла в бурлящую оптимизмом страну, исполненную решимости возместить себе потерянное время. Люди поглощали стейки и виски, сливочное масло и сахар. Они строили себе дома, покупали кухонную технику, автомобили, одежду, ездили в отпуск. Постепенно она привыкла к этому новому миру с его избыточностью, и удивление угасло. Иногда по утрам она открывала глаза с ощущением, будто просыпается в новый, солнечный день после долгого, мучительного кошмара. Но теперь тень кошмара снова легла не только на ее ночи, но и на дни. Теперь кошмар становился ощутимее, чем реальный мир вокруг.

Однажды, когда она стояла перед витриной в лавке мясника, у нее так закружилась голова от обилия стейков, вырезки, отбивных, потрохов, что она заказала дюжину бараньих отбивных.

– Гостей к ужину ждете, миссис Форэ? – спросил мясник, заворачивая отбивные в плотную вощеную бумагу.

Она была слишком смущена и не стала объяснять, что просто забыла на минуту, где находится, а дома потратила четверть часа на то, чтобы разобрать морозилку и втиснуть туда отбивные. На выходе из сабвея на Восемьдесят шестой улице, на границе Йорквилла, она случайно услышала немецкую речь – и замерла на месте, за ней даже образовалась небольшая пробка. Пустынная статья в какой-то газетенке о «Клубе моржей Кони-Айленда», который устраивал заплывы каждое воскресенье с ноября по апрель, отправила ее напрямиком вниз по кроличьей норе.

* * *

Поначалу они с Симон смеются над ними вместе со всеми остальными парижанами. Надо же им над чем-то смеяться, когда они едут на своих велосипедах под огромными нацистскими флагами, которые хлещут, словно бичи, на ветру; под плакатами, которые говорят им, что в их поражении виноваты англичане и евреи; во тьме, которая нависает над городом даже в самые яркие солнечные дни. Да и как не посмеяться над этими мальчиками-переростками в шортах или даже в одном нижнем белье, когда они стройными рядами маршируют к прудам или спортивным площадкам, где предаются буйным играм на свежем воздухе, – они плещутся, вопят и всячески демонстрируют свою неукротимую бодрость и пышущие здоровьем тела. Их обна-

женные торсы летом блестят от пота, а осенью светятся, точно мрамор, в прохладном сумеречном воздухе. При каждом движении у них на ногах и руках перекачиваются мышцы. Когда после своих упражнений они отдыхают под взглядами французов на скамьях и газонах – и, что хуже всего, на национальных памятниках, – они с ребяческой гордостью выставляют напоказ свою эрекцию. Только посмотрите на нас – кажется, говорят они, – только посмотрите на наши подтянутые, прекрасные, налитые жизнью тела. Посмотрите, на что они способны. Не то что вы, сломленные, разбитые французы. И постепенно народ начинает смотреть. Кто-то из женщин откровенно пялится, кто-то отводит глаза со страхом и злостью – не на эти тела, а не себя. Мужчины тоже смотрят – кто с гневом, кто с завистью, а кто исподтишка, жадно, с вождением. И постепенно смех перерастает в ужас. Даже те, кто рискует жизнью, борясь с ними, не свободны от соблазна секса, опасности, смерти, смешавшихся в один эротический и гибельный коктейль. Однажды, будучи на задании от той организации, к которой она присоединилась, – она работает курьером – Симон оказывается в вагоне поезда в купе, где полно немецких офицеров. Вместо того чтобы перейти в другой вагон, она остается и всю дорогу флиртует с ними. Случилось это еще до того, как вышел указ насчет звезд на одежде. «Здорово я придумала? – спрашивает она, вернувшись, у Шарлотт. – Спрятаться вот так, на виду?» «Придумано, конечно, неплохо, но только ли в этом тут было дело?» – думает, но не говорит вслух Шарлотт. Она и сама тратит немало сил на борьбу с соблазном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.